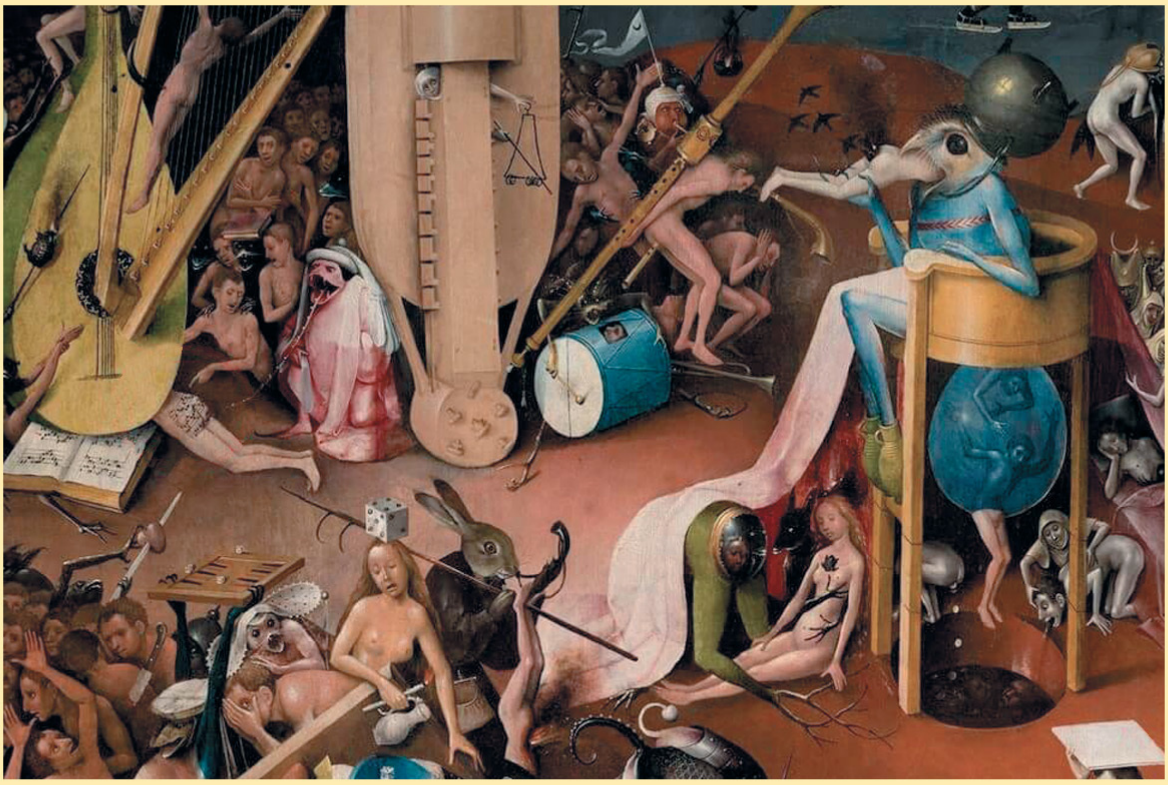


ФРИДРИХ НИЦШЕ

АНТИХРИСТ
ЕССЕ НОМО
СУМЕРКИ ИДОЛОВ

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Эксклюзивная классика (АСТ)

Фридрих Ницше

Антихрист. Ессе Homo. Сумерки идолов

«Издательство АСТ»
2019

УДК 1(091)(430)
ББК 87.3(4Гем)

Ницше Ф. В.

Антихрист. Ессе Homo. Сумерки идолов / Ф. В. Ницше — «Издательство АСТ», 2019 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-115205-5

Что такое христианство? Религия добра и милосердия – или «религия неудачников», связывающая руки сильной личности и опутывающая верующих комплексом вины? Как следует поступать со своими «внутренними демонами»? Подавлять ли их, загоняя все глубже, или, напротив, научиться принимать их – ведь таков лучший способ ими управлять? И, наконец, что важнее – чувственное или интеллектуальное восприятие мира? Нравственность, контролирующая инстинкты, или сами эти инстинкты?.. «Антихрист» и «Ессе Homo» ждали выхода в свет годами. Даже учитывая скандальную славу «ниспровергателя общественной морали» и кумира бунтующей молодежи, которая уже окружала автора «Так говорил Заратустра» ко времени их написания, не находилось издателя, который рискнул бы опубликовать такие тексты. Однако в 1895-м году они все же были изданы – и грянул гром. Их запрещали и осуждали. Автора предавали моральной анафеме. А его учение тем временем захватывало умы все новых и новых молодых интеллектуалов…

УДК 1(091)(430)
ББК 87.3(4Гем)

ISBN 978-5-17-115205-5

© Ницше Ф. В., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Антихрист. Проклятие христианству 7
Конец ознакомительного фрагмента. 40

Фридрих Ницше
Антихрист. Ecce Homo. Сумерки идолов

© ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

Антихрист. Проклятие христианству

Предисловие

Эта книга принадлежит немногим. Может быть, никто из этих немногих еще и не существует. Ими могут быть те, кто понимает моего «Заратустру»; как *мог бы* я смешаться с теми, у кого лишь сегодня открываются уши? Только послезавтра принадлежит мне. Иные люди родятся posthum.

Условия, при которых меня понимают и тогда уже понимают *с необходимостью,* – я знаю их слишком хорошо. Надо быть честным в интеллектуальных вещах до жестокости, чтобы только вынести мою серьезность, мою страсть. Надо иметь привычку жить на горах – видеть *под* собою жалкую болтовню современной политики и национального эгоизма. Надо сделаться равнодушным, никогда не спрашивать, приносит ли истина пользу или становится роком для личности… Пристрастие силы к вопросам, на которые сегодня ни у кого нет мужества; мужество к *запретному;* предназначение к лабиринту. Опыт из семи одиночеств. Новые уши для новой музыки. Новые глаза для самого дальнего. Новая совесть для истин, которые оставались до сих пор немыми. *И* воля к экономии высокого стиля: сплачивать свою силу, свое *вдохновение.* Уважение к себе; любовь к себе; безусловная свобода относительно себя…

Итак, только это – мои читатели, мои настоящие читатели, мои предопределенные читатели: что за дело до *остального*! Остальное – лишь человечество. Надо стать выше человечества силой, *высотой* души – презрением…

Фридрих Ницше

1

– Обратимся к себе. Мы гипербореи – мы достаточно хорошо знаем, как далеко в стороне мы живем от других. «Ни землей, ни водой ты не найдешь пути к гипербореям» – так понимал нас еще Пиндар. По ту сторону севера, льда, смерти – *наша* жизнь, *наше* счастье. Мы открыли счастье, мы знаем путь, мы нашли выход из целых тысячелетий лабиринта. Кто же нашел его? – Неужели современный человек? – «Я не знаю, куда деваться: я всё, что не знает, куда деваться», – вздыхает современный человек. *Этой* современностью болели мы, мы болели ленивым миром, трусливым компромиссом, всей добродетельной нечистоплотностью современных Да и Нет. Эта терпимость, largeur[1] сердца, которая все «извиняет», потому что все «понимает», действует на нас, как сирокко. Лучше жить среди льдов, чем под теплыми веяниями современных добродетелей. Мы были достаточно смелы, мы не щадили ни себя, ни других, но мы долго не знали, *куда* нам направить нашу смелость. Мы были мрачны, нас называли фаталистами. *Нашим* фатумом было: полнота, напряжение, накопление сил. Мы жаждали молнии и дел, мы оставались вдали от счастья немощных, от «смирения». Грозовые тучи вокруг, мрак внутри нас: *мы не имели пути;* формула нашего счастья: одно Да, одно Нет, одна прямая линия, одна цель…

[1] Широта (*фр*).

2

Что хорошо? – Все, что повышает в человеке чувство власти, волю к власти, самое власть…

Что дурно? – Все, что происходит из слабости.

Что есть счастье? – Чувство *растущей* власти, чувство преодолеваемого противодействия.

Не удовлетворенность, но стремление к власти, *не* мир вообще, но война, *не* добродетель, но полнота способностей (добродетель в стиле Ренессанс, virtù, добродетель, свободная от моралина).

Слабые и неудачники должны погибнуть: первое положение *нашей* любви к человеку. И им до́лжно еще помочь в этом.

Что вреднее всякого порока? – Деятельное сострадание ко всем неудачникам и слабым – христианство…

3

Моя проблема не в том, как завершает собою человечество последовательный ряд сменяющихся существ (человек – это *конец*), но какой тип человека следует *взрастишь,* какой тип *желателен* как более ценный, более достойный жизни, будущности.

Этот более ценный тип уже существовал нередко, но лишь как счастливая случайность, как исключение, – и никогда как нечто *преднамеренное.* Наоборот, – *его* боялись более всего; до сих пор он внушал почти ужас, и из страха перед ним желали, взращивали и *достигали* человека противоположного типа: типа домашнего животного, стадного животного, больного животного – христианина…

4

Человечество *не* представляет собою развития к лучшему, или к сильнейшему, или к высшему, как в это до сих пор верят. «Прогресс» есть лишь современная идея, иначе говоря, фальшивая идея. Теперешний европеец по своей ценности глубоко ниже европейца эпохи Возрождения, поступательное развитие решительно *не* представляет собою какой-либо необходимости повышения, усиления.

Совсем в ином смысле, в единичных случаях на различных территориях земного шара и среди различных культур, удается проявление того, что фактически представляет собою *высший тип,* что по отношению к целому человечеству представляет род сверхчеловека. Такие счастливые случайности всегда бывали и всегда могут быть возможны. И при благоприятных обстоятельствах такими удачами могут быть целые поколения, племена, народы.

5

Не следует украшать и выряжать христианство: оно объявило *смертельную войну* этому *высшему* типу человека, оно отреклось от всех основных инстинктов этого типа; из этих инстинктов оно выцедило понятие зла, злого человека: сильный человек сделался негодным человеком, «отверженцем». Христианство взяло сторону всех слабых, униженных, неудачников, оно создало идеал из *противоречия* инстинктов поддержания сильной жизни; оно внесло порчу в самый разум духовно-сильных натур, так как оно научило их чувствовать высшие

духовные ценности как греховные, ведущие к заблуждению, как *искушения.* Вот пример, вызывающий глубочайшее сожаление: гибель Паскаля, который верил в то, что причиной гибели его разума был первородный грех, между тем как ею было лишь христианство! —

6

Мучительное, страшное зрелище представилось мне: я отдернул завесу с *испорченности* человека. В моих устах это слово свободно по крайней мере от одного подозрения: будто бы оно заключает в себе моральное обвинение. Слово это – я желал бы подчеркнуть это еще раз – лишено морального смысла, и притом в такой степени, что испорченность эта как раз ощущается мною сильнее всего именно там, где до сих пор наиболее сознательно стремились к «добродетели», к «божественности». Я понимаю испорченность, как об этом можно уже догадаться, в смысле décadence: я утверждаю, что все ценности, к которым в настоящее время человечество стремится, как к наивысшим, – суть *ценности* décadence.

Я называю животное – род, индивидуум – испорченным, когда оно теряет свои инстинкты, когда оно выбирает, когда оно *предпочитает* то, что ему вредно. История «высоких чувств», «идеалов человечества» – может быть, именно мне нужно ею заняться – была бы почти только выяснением того, *почему* человек так испорчен. Сама жизнь ценится мною как инстинкт роста, устойчивости, накопления сил, *власти:* где недостает воли к власти, там упадок. Я утверждаю, что всем высшим ценностям человечества *недостает* этой воли, что под самыми святыми именами господствуют ценности упадка, *нигилистические* ценности.

7

Христианство называют религией *сострадания.* Сострадание противоположно тоническим аффектам, повышающим энергию жизненного чувства; оно действует угнетающим образом. Через сострадание теряется сила. Состраданием еще увеличивается и усложняется убыль в силе, наносимая жизни страданием. Само страдание делается заразительным через сострадание; при известных обстоятельствах путем сострадания достигается такая величина ущерба жизни и жизненной энергии, которая находится в нелепо преувеличенном отношении к величине причины (случай смерти Назореянина). Вот первая точка зрения, но есть еще и более важная. Если измерять сострадание ценностью реакций, которые оно обыкновенно вызывает, то опасность его для жизни еще яснее. Сострадание вообще противоречит закону развития, который есть закон подбора. Оно поддерживает то, что должно погибнуть, оно встает на защиту в пользу обездоленных и осужденных жизнью; поддерживая в жизни неудачное всякого рода, оно делает саму жизнь мрачною и возбуждающею сомнение. Осмелились назвать сострадание добродетелью (в каждой *благородной* морали оно считается слабостью); пошли еще дальше: сделали из него добродетель по преимуществу, почву и источник всех добродетелей, конечно, лишь с точки зрения нигилистической философии, которая пишет на своем щите *отрицание жизни,* – и это надо всегда иметь в виду. Шопенгауэр был прав: сострадание отрицает жизнь, оно делает ее более *достойной отрицания,* – сострадание есть *практика* нигилизма. Повторяю: этот угнетающий и заразительный инстинкт уничтожает те инстинкты, которые исходят из поддержания и повышения ценности жизни: *умножая* бедствие и *охраняя* все бедствующее, оно является главным орудием décadence – сострадание увлекает в *ничто*!.. Не говорят «ничто»: говорят вместо этого «по ту сторону», или «Бог», или *«истинная* жизнь», или нирвана, спасение, блаженство… Эта невинная риторика из области религиозно-нравственной идиосинкразии оказывается *гораздо менее невинной,* когда поймешь, *какая* тенденция облекается здесь в мантию возвышенных слов, тенденция, *враждебная жизни.* Шопенгауэр был враждебен жизни – *поэтому* сострадание сделалось у него добродетелью… Аристотель, как известно, видел в

сострадании болезненное и опасное состояние, при котором недурно кое-когда прибегать к слабительному; он понимал трагедию – как слабительное. Исходя из инстинкта жизни, можно бы было в самом деле поискать средство *удалить хирургическим путем* такое болезненное и опасное скопление сострадания, какое представляет случай с Шопенгауэром (и, к сожалению, весь наш литературный и артистический décadence от Санкт-Петербурга до Парижа, от Толстого до Вагнера)… Нет ничего более нездорового среди нашей нездоровой современности, как христианское сострадание. *Здесь* быть врачом, *здесь* быть неумолимым, *здесь* действовать ножом, – это надлежит *нам,* это *наш* род любви к человеку, с которой живем *мы* — философы, мы – гипербореи! —

8

Необходимо сказать, *кого* мы считаем своей противоположностью: теологов и все, что от плоти и крови теологов, – всю нашу философию… Нужно вблизи увидеть роковое, больше того – нужно пережить его на себе, почти дойти до гибели, чтобы с ним уже не шутить более (свободомыслие наших господ естествоиспытателей и физиологов в моих глазах есть *шутка;* им недостает страсти в этих вещах, они не *страдают* ими). Отрава идет гораздо далее, чем думают: я нашел присущий теологам инстинкт высокомерия всюду, где теперь чувствуют себя «идеалистами», где, ссылаясь на высшее происхождение, мнят себя вправе относиться к действительности как к чему-то чуждому и смотреть на нее свысока… Идеалист совершенно так, как и жрец, все великие понятия держит в руке (и не только в руке!); он играет ими с благосклонным презрением к «разуму», «чувству», «чести», «благоденствию», «науке»; на все это он смотрит *сверху вниз,* как на вредные и соблазнительные силы, над которыми парит «дух» в самодовлеющей чистоте: как будто жизнь до сих пор не вредила себе целомудрием, бедностью, одним словом, – *святостью* гораздо более, чем всякими ужасами и пороками… Чистый дух – есть чистая ложь… Пока жрец, этот отрицатель, клеветник, отравитель жизни *по призванию,* считается еще человеком *высшей* породы, – нет ответа на вопрос: что *есть* истина? Раз сознательный защитник отрицания жизни является заступником «истины», тем самым истина ставится вверх ногами…

9

Этому инстинкту теолога объявляю я войну: всюду находил я следы его. У кого в жилах течет кровь теолога, тот с самого начала не может относиться ко всем вещам прямо и честно. Развивающийся отсюда пафос называется *вера,* т. е. раз и навсегда закрывание глаз, чтобы не страдать от зрелища неисправимой лжи. Из этого оптического обмана создают себе мораль, добродетель, святость; чистую совесть связывают с *фальшивым* взглядом; освящая собственное мировоззрение терминами «Бог», «спасение», «вечность», не допускают, чтобы какая-нибудь *иная* оптика претендовала на ценность. Везде откапывал я инстинкт теолога: он есть самая распространенная и самая *подземная* форма лжи, какая только существует на земле. Все, что ощущает теолог как истинное, то *должно* быть ложным: в этом мы почти имеем критерий истины. Его глубочайший инстинкт самосохранения запрещает, чтобы реальность в каком бы то ни было отношении пользовалась почетом или хотя бы просто заявляла о себе. Поскольку простирается влияние теологов, постольку извращается *оценка,* – необходимо подмениваются понятия «истинный» и «ложный»: что более всего вредит жизни, то здесь называется «истинным»; что ее возвышает, поднимает, утверждает, оправдывает и доставляет ей торжество, то называется «ложным». Если случается, что теологи, путем воздействия на «совесть» государей (*или* народов), протягивают руку к *власти,* то мы не сомневаемся, *что,* собственно, каждый раз тут происходит: воля к концу, *нигилистическая* воля волит власти…

10

Немцам сразу понятны мои слова, что кровь теологов испортила философию. Протестантский пастор – дедушка немецкой философии, сам протестантизм ее peccatum originale[2]. Вот определение протестантизма: односторонний паралич христианства – *и* разума… Достаточно сказать слово «тюбингенская школа», чтобы сделалось ясным, что немецкая философия в основании своем – *коварная* теология… Швабы – лучшие лжецы в Германии, – они лгут невинно… Откуда то ликование при появлении *Канта,* которое охватило весь немецкий ученый мир, состоящий на три четверти из сыновей пасторов и учителей? Откуда убеждение немцев, еще и до сих пор находящее свой отзвук, что с Кантом начался поворот *к лучшему*? Инстинкт теолога в немецком ученом угадал, *что* теперь снова сделалось – возможным… Открылась лазейка к старому идеалу; понятие *«истинный* мир», понятие о морали как *сущности* мира (два злостнейших заблуждения, какие только существуют!) – эти два понятия, благодаря хитроумному скептицизму, если не доказываются, то более не *опровергаются*… Разум, *право* разума сюда не достигает… Из реальности сделали «видимость», из совершенно изолганного мира, мира сущего, сделали реальность… Успех Канта есть лишь успех теолога. Кант, подобно Лютеру, подобно Лейбницу, был лишним тормозом для недостаточно твердой на ногах немецкой честности. —

11

Еще одно слово против Канта как *моралиста.* Добродетель должна быть *нашим* изобретением, *нашей* глубоко личной защитой и потребностью: во всяком ином смысле она только опасность. Что не обусловливает нашу жизнь, то *вредит* ей: добродетель только из чувства уважения к понятию «добродетель», как хотел этого Кант, вредна. «Добродетель», «долг», «добро само по себе», доброе с характером безличности и всеобщности – все это химеры, в которых выражается упадок, крайнее обессиление жизни, кёнигсбергский китаизм. Самые глубокие законы сохранения и роста повелевают как раз обратное: чтобы каждый находил себе *свою* добродетель, *свой* категорический императив. Народ идет к гибели, если он смешивает *свой* долг с понятием долга вообще. Ничто не разрушает так глубоко, так захватывающе, как всякий «безличный» долг, всякая жертва молоху абстракции. – Разве не чувствуется категорический императив Канта, как *опасный для жизни!*.. Только инстинкт теолога взял его под защиту! – Поступок, к которому вынуждает инстинкт жизни, имеет в чувстве удовольствия, им вызываемом, доказательство своей *правильности;* а тот нигилист с христиански-догматическими потрохами принимает удовольствие за *возражение*… Что действует разрушительнее того, если заставить человека работать, думать, чувствовать без внутренней необходимости, без глубокого личного выбора, без *удовольствия*! как автомат «долга»? Это как раз *рецепт* décadence, даже идиотизма… Кант сделался идиотом. – И это был современник *Гёте*! Этот роковой паук считался *немецким* философом! – Считается еще и теперь!.. Я остерегаюсь высказать, что я думаю о немцах… Разве не видел Кант во Французской революции перехода неорганической формы государства в *органическую*? Разве не задавался он вопросом, нет ли такого явления, которое совершенно не может быть объяснено иначе как моральным настроением человечества, так чтобы им раз и навсегда была *доказана* «тенденция человечества к добру»? Ответ Канта: «это революция». Ошибочный инстинкт в общем и в частности, *противоприродное* как инстинкт, немецкая décadence как философия – *вот что такое Кант!* —

[2] Первородный грех (*лат.*).

12

Если оставить в стороне пару скептиков, представителей порядочности в истории философии, то остальное все не удовлетворяет первым требованиям интеллектуальной честности. Все эти великие мечтатели и чудаки, вместе взятые, все они поступают, как бабенки: «прекрасные чувства» принимают они за аргументы, «душевное воздыхание» за воздуходувку Божества, убеждение за *критерий* истины. В конце концов еще Кант в «немецкой» невинности пытался приобщить к науке эту форму коррупции, этот недостаток интеллектуальной совести, под видом понятия «практический разум»: он нарочно изобрел разум для того случая, когда о разуме не может быть и речи, когда именно мораль провозглашает свое возвышенное требование: «ты должен». Принимая во внимание, что почти у всех народов философ есть только дальнейшее развитие жреческого типа, нечего удивляться его *жульничеству перед самим собой,* этому наследию жреца. Если имеешь священные задачи вроде исправления, спасения, искупления человечества, если носишь в груди божество, считаешь себя рупором потустороннего императива, то, облеченный в такую миссию, ставишь себя уже вне всех чисто рациональных оценок, – *сам,* освященный подобной задачей, изображаешь тип высшего порядка!.. Что за дело жрецу до *науки*! Он стоит слишком высоко для этого! – И этот жрец до сих пор *господствовал! – Он определял* понятие «истинный» и «неистинный»!..

13

Оценим в должной мере то, что *мы сами,* мы, свободные умы, уже есть «переоценка всех ценностей», *воплощенный* клич войны и победы над всеми старыми понятиями об «истинном» и «неистинном». Самое ценное в интеллектуальном отношении отыскивается позднее всего. Но самое ценное – это *методы. Все* методы, *все* предпосылки нашей теперешней научности, встречали глубочайшее презрение в течение тысячелетий; из-за них иные исключались из общества «честных» людей, считались «врагами Бога», презирающими истину, «одержимыми». Научные склонности человека делали из него чандалу… Весь пафос человечества – его понятие о том, что́ *должно* быть истиной, чем *должно* быть служение истине – все было против нас: каждое «ты должен» было до сих пор направлено *против* нас… Предметы наших занятий, самые занятия, весь род наш – тихий, осмотрительный, недоверчивый – все казалось совершенно недостойным и заслуживающим презрения. – В конце концов, с известной долей справедливости можно бы было спросить себя: не *эстетический* ли вкус удерживал человечество в столь длительной слепоте? Оно требовало от истины *живописного* эффекта, оно требовало и от познающего, чтобы он сильно действовал на чувство. Наша *скромность* дольше всего претила его вкусу… О, как они это угадали, эти божьи индюки. —

14

Нам пришлось переучиваться. Во всем мы сделались скромнее. Мы более не выводим человека из «духа», из «божества», мы отодвинули его в ряды животных. Мы считаем его сильнейшим животным, потому что он хитрее всех, – следствием этого является его духовность. С другой стороны, мы устраняем от себя тщеславное чувство, которое и здесь могло бы проявиться: что человек есть великая скрытая цель развития животного мира. Он совсем не венец творения, каждое существо рядом с ним стоит на равной ступени совершенства… Утверждая это, мы утверждаем еще большее: человек, взятый относительно, есть самое неудачное животное, самое болезненное, уклонившееся от своих инстинктов самым опасным для

себя образом, – но, конечно, со всем этим и самое *интереснейшее*! – Что касается животных, то с достойною уважения смелостью Декарт впервые рискнул высказать мысль, что животное можно понимать как machina, – вся наша физиология старается доказать это положение. Развивая логически эту мысль, мы не исключаем и человека, как это делал еще Декарт: современные понятия о человеке развиваются именно в механическом направлении. Прежде придавали человеку качество высшего порядка – «свободную волю»; теперь мы отняли у него даже волю в том смысле, – что под волей нельзя уже более подразумевать силу. Старое слово «воля» служит только для того, чтобы обозначить некую результанту, некий род индивидуальной реакции, которая необходимо следует за известным количеством частью противоречащих, частью согласующихся раздражений: воля более не «действует», более не «двигает»… Прежде видели в сознании человека, в «духе», доказательство его высшего происхождения, его божественности; ему советовали, если он хотел быть *совершенным,* втянуть, подобно черепахе, в себя свои чувства, прекратить общение с земным, скинуть земную оболочку: тогда от него должно было остаться главное – «чистый дух». Насчет этого мы теперь уже лучше соображаем: как раз именно сознание, «дух», мы считаем симптомом относительного несовершенства организма, как бы попыткой, прощупыванием, промахом, как бы усилием, при котором бесполезно тратится много нервной силы; мы отрицаем, чтобы что-нибудь могло быть совершенным, раз оно делается сознательно. «Чистый дух» есть чистая глупость: если мы сбросим со счета нервную систему и чувства, «смертную оболочку», то мы *обсчитаемся* — вот и все!..

15

Ни мораль, ни религия не соприкасаются в христианстве ни с какой точкой действительности. Чисто воображаемые *причины* («Бог», «душа», «Я», «дух», «свободная воля», – или даже «несвободная»); чисто воображаемые *действия* («грех», «искупление», «милость», «наказание», «прощение греха»). Общение с воображаемыми *существами* («Бог», «духи», «души»); воображаемая наука о *природе* (антропоцентрическая; полное отсутствие понятия о естественных причинах); воображаемая *психология* (явное непонимание самого себя, толкование приятных или неприятных всем общих чувств – как, например, известных состояний nervus sympathicus – при помощи символического языка религиозно-моральной идиосинкразии, – «раскаяние», «угрызение совести», «искушение дьявола», «близость Бога»), воображаемая *телеология* («Царство Божье», «Страшный суд», «вечная жизнь»). – Этот мир чистых *фикций* сильно отличается не в свою пользу от мира грез именно тем, что последний *отражает* действительность, тогда как *первый* извращает ее, обесценивает, отрицает. Только после того, как понятие «природа» было противопоставлено понятию «Бог», слово «природный», «естественный» должно было сделаться синонимом «недостойный» – корень всего этого мира фикций лежит в *ненависти* к естественному (действительность!); этот мир есть выражение глубокого отвращения к действительному… *И этим все объясняется.* У кого единственно есть основание *отречься* от действительности, *оклеветавши* ее? – У того, кто от нее *страдает.* Но страдать от действительности – это значит самому быть неудачной действительностью… Перевес чувства неудовольствия над чувством удовольствия есть *причина* этой фиктивной морали и религии, а такой перевес дает содержание *формуле* décadence…

16

К такому заключению вынуждает критика *христианского понятия о Боге.* – Народ, который еще верит в самого себя, имеет также и своего собственного Бога. В нем он чтит условия, благодаря которым он поднялся, – свои добродетели. Его самоудовлетворенность, его чувство власти отражается для него в существе, которое можно за это благодарить. Кто богат –

хочет давать; гордый народ нуждается в божестве, чтобы *жертвовать*… Религия при таких предпосылках является выражением благодарности. Народ, благодарный за свое существование, нуждается для выражения этой благодарности в божестве. – Такое божество должно иметь силу приносить пользу или вред, быть другом или врагом; ему удивляются как в добре, так и в зле. *Противоестественная* кастрация божества в божество только добра была бы здесь совсем нежелательна. В злом божестве так же нуждаются, как и в добром: ведь и собственное существование не есть лишь дар снисходительности и дружеского расположения к человеку… Какой смысл в божестве, которое не знает ни гнева, ни мести, ни зависти, ни насмешки, ни хитрости, ни насилия? которому, быть может, никогда не были знакомы приводящие в восхищение ardeurs[3] победы и уничтожения? Такое божество было бы и непонятно: к чему оно? – Конечно, если народ погибает, если он чувствует, что окончательно исчезает его вера в будущее, его надежда на свободу, если покорность начинает входить в его сознание, как первая полезность, если добродетели подчинения являются необходимыми условиями его поддержания, то и его божество *должно* также измениться. Оно делается теперь пронырливым, боязливым, скромным, советует «душевный мир», воздержание от ненависти, осторожность, «любовь к другу и врагу». Оно постоянно морализирует, оно вползает в каждую частную добродетель, становится божеством для отдельного человека, становится частным лицом, космополитом… Некогда божество представляло собою народ, мощь народа, все агрессивное и жаждущее власти в душе народа – теперь оно только лишь благое божество… Поистине, для богов нет иной альтернативы: *или* они есть воля к власти, и тогда они бывают национальными божествами, – *или же* они есть бессилие к власти – и тогда они по необходимости делаются *добрыми*…

17

Где понижается воля к власти в какой бы то ни было форме, там всякий раз происходит также и физиологический спад, décadence. Божество décadence, кастрированное в сильнейших своих мужских добродетелях и влечениях, делается теперь по необходимости Богом физиологически вырождающихся, Богом слабых. Сами себя они не называют слабыми, они называют себя «добрыми»… Понятно без дальнейших намеков, в какие моменты истории впервые делается возможной дуалистическая фикция доброго и злого Бога. Руководствуясь одним и тем же инстинктом, порабощенные низводят своего Бога до «доброго в самом себе» и вместе с тем лишают Бога своих поработителей его добрых качеств; они мстят своим господам тем, что их Бога *обращают в черта. – Добрый Бог,* равно как и черт, – то и другое суть исчадия décadence. Как можно еще в настоящее время так поддаваться простоте христианских теологов, чтобы вместе с ними декретировать, что дальнейшее развитие понятия о Боге от «Бога Израиля», от Бога народа, к христианскому Богу, к вместилищу всякого добра, – что это был *прогресс*? – Но сам Ренан делает это. Как будто Ренан имеет право на простоту! А между тем противоположное бросается в глаза. Если из понятия о божестве удалены все предпосылки *возрастающей* жизни, все сильное, смелое, повелевающее, гордое, если оно опускается шаг за шагом до символа посоха для уставших, якоря спасения для всех утопающих, если оно становится Богом бедных людей, Богом грешников, Богом больных par excellence и предикат «Спаситель», «Избавитель» делается как бы божеским предикатом вообще, – то о *чем* говорит подобное превращение, подобная *редукция* божественного? – Конечно, «Царство Божье» тем самым увеличилось. Прежде Бог знал только свой народ, свой «избранный» народ. Между тем он пошел, как и народ его, на чужбину, начал странствовать, и с тех пор он уже нигде не оставался в покое, пока наконец не сделался всюду туземцем – великий космополит, – пока не перетянул он на свою сторону «великое число» и половину земли. Но Бог «великого числа», демократ между

[3] Пыл, рвение (*фр.*).

богами, несмотря на это, не сделался гордым богом язычников; он остался иудеем, он остался богом закоулка, богом всех темных углов и мест, всех нездоровых жилищ целого мира!.. Царство его мира всегда было царством преисподней, госпиталем, царством souterrain[4], царством гетто… И сам он, такой бледный, такой слабый, такой décadent… Даже самые бледные из бледных, господа метафизики, альбиносы понятия, стали над ним господами. Метафизики опутывали его своей пряжей до тех пор, пока он сам, загипнотизированный их движениями, не сделался пауком, сам не сделался метафизикусом. Теперь он уже прял мир из самого себя – sub specie Spinozae[5] – теперь он сам преображался, все утончаясь и бледнея; он стал «идеалом», стал «чистым духом», стал «absolutum», стал «вещью в себе»… *Падение божества:* Бог стал «вещью в себе»…

18

Христианское понятие о божестве (Бог как Бог больных, Бог как паук, Бог как дух) – это понятие есть одно из самых извращеннейших понятий о божестве, какие только существовали на земле; быть может, оно является даже измерителем той глубины, до которой может опуститься тип божества в его нисходящем развитии. Бог, выродившийся в *противоречие с жизнью,* вместо того чтобы быть ее просветлением и вечным ее *утверждением*! Бог, объявляющий войну жизни, природе, воле к жизни! Бог как формула всякой клеветы на «посюстороннее», для всякой лжи о «потустороннем»! Бог, обожествляющий «ничто», освящающий волю к «ничто»!..

19

Сильные расы северной Европы не оттолкнули от себя христианского Бога, и это не делает чести их религиозной одаренности, не говоря уже о вкусе. Они *должны* бы справиться с таким болезненным и слабым выродком décadence. Но за то, что они не справились с ним, на них лежит проклятие: они впитали во все свои инстинкты болезненность, дряхлость, противоречие, они уже не *создали* с тех пор более никакого Бога! Почти два тысячелетия – и ни одного нового божества! Но все еще он и как бы по праву, как бы ultimatum и maximum богообразовательной силы, creator spiritus[6] в человеке, – все он, этот жалкий Бог христианского монотонотеизма! Этот гибрид упадка, образовавшийся из нуля, понятия и противоречия, в котором получили свою санкцию все инстинкты décadence, вся трусливость и усталость души! —

20

Осуждая христианство, я не хотел бы быть несправедливым по отношению к родственной религии, которая даже превосходит христианство числом своих последователей: по отношению к *буддизму.* Обе принадлежат к нигилистическим религиям, как религии décadence, и обе удивительно не похожи одна на другую. Теперь их уже можно *сравнивать,* и за это критик христианства должен быть глубоко благодарен индийским ученым. Буддизм во сто раз реальнее христианства, – он представляет собою наследие объективной и холодной постановки проблем, он является *после* философского движения, продолжавшегося сотни лет; с понятием «Бог» уже было покончено, когда он явился. Буддизм есть единственная истинно *позитивистская*

[4] Подполье (*фр.*).

[5] С точки зрения Спинозы (*лат.*).

[6] Творческий дух (*лат.*).

религия, встречающаяся в истории; даже в своей теории познания (строгом феноменализме) он не говорит: «борьба против *греха»,* но, с полным признанием действительности, он говорит: «борьба против *страдания».* Самообман моральных понятий он оставляет уже позади себя, – и в этом его глубокое отличие от христианства – он стоит, выражаясь моим языком, *по ту сторону* добра и зла. – Вот *два* физиологических факта, на которых он покоится и которые имеет в виду: *первое* — преувеличенная раздражительность, выражающаяся в утонченной чувствительности к боли, *второе* — усиленная духовная жизнь, слишком долгое пребывание в области понятий и логических процедур, ведущее к тому, что инстинкт личности, ко вреду для себя, уступает место «безличному» (оба состояния, по опыту известные, по крайней мере некоторым из моих читателей – «объективным» подобно мне самому). На основе этих физиологических условий возникло состояние *депрессии;* против него-то и выступил со своей гигиеной Будда. Он предписывает жизнь на свежем воздухе, в странствованиях; умеренность и выбор в пище, осторожность относительно всех спиртных; предусмотрительность также по отношению ко всем аффектам, вырабатывающим желчь, разгорячающим кровь, – никаких *забот* ни о себе, ни о других. Он требует представлений успокаивающих или развеселяющих – он изобретает средства отучить себя от других. Он понимает доброту, доброжелательное настроение как требование здоровья. *Молитва* исключается, равно как и *аскеза;* никакого категорического императива, никакого *принуждения* вообще, даже внутри монастырской общины (откуда всегда возможен выход). Все это было бы средствами к усилению преувеличенной раздражительности. Поэтому именно он не требует никакой борьбы с теми, кто иначе думает; его учение *сильнее всего* вооружается против чувства мести, отвращения, ressentiment («не путем вражды кончается вражда» – трогательный рефрен всего буддизма). И это с полным правом: именно эти аффекты были бы вполне *нездоровы* по отношению к главной, *диететической,* цели. Если он встречает духовное утомление, которое выражается в слишком большой «объективности» (т. е. в ослаблении индивидуального интереса, в потере «эгоизма»), он с ним борется тем, что придает даже и вполне духовным интересам строго *личный* характер. В учении Будды эгоизм делается обязанностью. «Необходимо одно: как *тебе* освободиться от страданий», – это положение регулирует и ограничивает всю духовную диету (быть может, следует вспомнить того афинянина, который также объявлял войну чистой «научности», а именно Сократа, поднявшего личный эгоизм в область моральных проблем).

21

Чрезвычайно мягкий климат, кротость и либеральность в нравах, *отсутствие* милитаризма – вот условия, предрасполагающие к буддизму; равно как и то, чтобы очагом движения были высшие и даже ученые сословия. Ясность духа, спокойствие, отсутствие желаний как высшая цель – вот чего хотят и чего *достигают.* Буддизм не есть религия, в которой лишь стремятся к совершенству: совершенное здесь есть нормальный случай. —

В христианстве инстинкты подчиненных и угнетенных выступают на передний план: именно низшие сословия ищут в нем спасения. Казуистика греха, самокритика, инквизиция совести практикуются здесь как *занятие,* как средство против скуки; здесь постоянно (путем молитвы) поддерживается пыл по отношению к *могущественному* существу, называемому «Бог»; высшее значится здесь как недостижимое, как дар, как «милость». В христианстве недостает также откровенности: темное место, закоулок – это в его духе. Тело здесь презирается, гигиена отвергается как чувственность; церковь отвращается даже от чистоплотности (первым мероприятием христиан после изгнания мавров было закрытие общественных бань, каковых только в Кордове насчитывалось до двухсот семидесяти). Христианство есть в известном смысле жестокость к себе и другим, ненависть к инакомыслящим, воля к преследованию. Мрачные и волнующие представления здесь на переднем плане. Состояния, которых домога-

ются и отмечают высокими именами, – это эпилептоидные состояния. Диета приспособлена к тому, чтобы покровительствовать болезненным явлениям и крайне раздражать нервы. Христианство есть смертельная вражда к господам земли, к «знатным», и вместе с тем скрытое, тайное соперничество с ними (им предоставляют «плоть», себе хотят *только* «душу»…). Христианство – это ненависть к *уму,* гордости, мужеству, свободе; это – libertinage ума; христианство есть ненависть к *чувствам,* к радостям чувств, к радости вообще…

22

Когда христианство покинуло свою первоначальную почву, т. е. низшие сословия, *подонки* античного мира, когда оно вышло на поиски власти, очутилось среди варварских народов – с тех пор оно не могло уже более рассчитывать на *утомленных* людей, но ему предстояло иметь дело с людьми внутренне одичавшими и терзающими друг друга – людьми сильными, но неудачниками. Недовольство собою, страдание от самого себя *не* имеют здесь характера чрезмерной раздражительности и восприимчивости к боли, как у буддиста, а скорее наоборот, – чересчур сильное стремление к причинению боли, к разрешению внутреннего напряжения путем враждебных поступков и представлений. Христианству нужны были *варварские* понятия и оценки, чтобы господствовать над варварами: такова жертва первенца, причащение в виде пития крови, презрение духа и культуры, всевозможные – чувственные и сверхчувственные – пытки, помпезность культа. Буддизм – религия для *поздних* людей, для добрых, нежных рас, достигших высшей степени духовности, которые слишком восприимчивы к боли (Европа далеко еще не созрела для него); он есть возврат их к миру и веселости, к диете духа, к известной закалке тела. Христианство хочет приобрести господство над *дикими зверями;* средством его для этого является – сделать их *больными.* Делать слабым – это христианский рецепт к *приручению,* к «цивилизации». Буддизм есть религия цивилизации, приведшей к усталости, близящейся к концу, христианство еще не застает такой цивилизации, при благоприятных обстоятельствах оно само ее устанавливает. —

23

Буддизм, повторяю еще раз, в сто раз холоднее, правдивее, объективнее. Он не нуждается в том, чтобы своему страданию, своей болезненности придать вид *приличия,* толкуя его как грех, – он просто говорит то, что думает: «я страдаю». Для варвара, напротив, страдание само по себе есть нечто неприличное: он нуждается в известном истолковании, чтобы самому себе признаться, что он страдает (его инстинкт прежде всего указывает ему на то, чтобы отрицать страдание, скрывая его). Слово «дьявол» явилось здесь благодеянием: в нем имели налицо могущественного и сильного врага: можно было не стыдиться страдания от такого врага. —

Христианство имеет в основании несколько тонкостей, принадлежащих Востоку. Прежде всего оно знает, что само по себе безразлично, истинно ли то или другое, но в высшей степени важно, *настолько* верят, что оно истинно. Истина и *вера,* что известная вещь истинна, – это два мира совсем отдельных, почти *противоположных* интересов: к тому и другому ведут пути, в основе совершенно различные. Знать это – значит на Востоке *быть* почти мудрецом: так понимают это брамины, так понимает Платон, так же каждый ученик эзотерической мудрости. Если, например, *счастье* заключается в том, чтобы верить в спасение от греха, то для этого *нет* необходимости в предположении, чтобы человек был грешен, но только чтобы он *чувствовал* себя грешным. Но если вообще прежде всего необходима *вера,* то разум, познание, исследование необходимо дискредитировать: путь к истине делается *запрещенным* путем. – Сильная *надежда* есть гораздо больший жизненный *стимул,* чем какое бы то ни было действительно наступившее счастье. Страдающих можно поддержать надеждой, которая не может быть опро-

вергнута действительностью, которая не устраняется осуществлением, – надеждой на потустороннее. (Именно благодаря этой способности поддерживать несчастных надежда считалась у греков злом, изо всех зол единственно *коварным* злом: она осталась в ларце зла.) – Чтобы была возможна *любовь.* Бог должен быть личностью; чтобы могли при этом заговорить самые низшие инстинкты, Бог должен быть молод. Чтобы воспламенить женщин, надо было выдвинуть на передний план прекрасного святого, для мужчин – Марию. Все это при предположении, что христианство будет господствовать там, где *понятие* культа уже определилось культом Афродиты или Адониса. Требование *целомудрия* усиливает внутренний пыл религиозного инстинкта – оно делает культ горячее, мечтательнее, душевнее. – Любовь есть такое состояние, когда человек по большей части видит вещи *не* такими, каковы они есть. Здесь господствует сила иллюзии, одновременно *преображающая* и услаждающая. При любви можно перенести больше, можно вытерпеть все. Необходимо изобрести религию, которая была бы преисполнена любви, с любовью можно перейти через самое плохое в жизни: его уже и вовсе не замечаешь. Вот что можно сказать о трех христианских добродетелях: вере, надежде, любви; я называю их тремя христианскими хитростями. – Буддизм слишком зрел и к тому же слишком позитивистичен для того, чтобы прибегать к подобным хитростям. —

24

Я здесь только коснусь проблемы *возникновения* христианства. *Первое* положение к ее решению гласит: христианство можно понять единственно в связи с той почвой, на которой оно выросло, – оно *не* есть движение, враждебное иудейскому инстинкту, оно есть его последовательное развитие, силлогизм в его логической цепи, внушающей ужас. По формуле Искупителя: «спасение идет от иудеев». – *Второе* положение гласит: психологический тип Галилеянина еще доступен распознаванию, но быть пригодным для того, для чего он употреблялся, т. е. быть типом *Спасителя* человечества, он мог лишь при полном своем вырождении (которое одновременно есть искалечение и перегрузка чуждыми ему чертами).

Евреи – это самый замечательный народ мировой истории, потому что они, поставленные перед вопросом: быть или не быть, со внушающей ужас сознательностью предпочли быть *какою бы то ни было* ценою: и этою ценою было радикальное *извращение* всей природы, всякой естественности, всякой реальности, всего внутреннего мира, равно как и внешнего. Они оградили себя *от* всех условий, в которых до сих пор народ мог и *должен* был жить, они создали из себя понятие противоположности *естественным* условиям, непоправимым образом обратили они по порядку религию, культ, мораль, историю, психологию в *противоречие к естественным ценностям этих понятий.* Подобное явление встречаем мы еще раз (и в несравненно преувеличенных пропорциях, хотя это только копия): христианская церковь по сравнению с «народом святых» не может претендовать на оригинальность. Евреи вместе с тем *самый роковой* народ всемирной истории: своими дальнейшими влияниями они настолько извратили человечество, что еще теперь христианин может чувствовать себя анти-иудеем, не понимая того, что он есть *последний логический вывод иудаизма.*

В «Генеалогии морали» я впервые представил психологическую противоположность понятий *благородной* морали и морали ressentiment, выводя последнюю из *отрицания* первой; но эта последняя и есть всецело иудейско-христианская мораль. Чтобы сказать Нет всему, что представляет на земле *восходящее* движение жизни, удачу, силу, красоту, самоутверждение, – инстинкт ressentiment, сделавшийся гением, должен был изобрести себе *другой* мир, с точки зрения которого это *утверждение жизни* являлось злом, недостойным само по себе. По психологической проверке еврейский народ есть народ самой упорнейшей жизненной силы; поставленный в невозможные условия, он добровольно, из глубокого и мудрого самосохранения, берет сторону всех инстинктов décadence – *не* потому, что они им владеют, но потому, что

в них он угадал ту силу, посредством которой он может отстоять себя *против* «мира». Евреи – это эквивалент всех décadents: они сумели *изобразить* их до иллюзии, с актерским гением до non plus ultra, сумели поставить себя во главе всех движений décadence (как христианство *Павла),* чтобы из них создать нечто более сильное, чем всякое иное движение, *утверждающее* жизнь. Для той человеческой породы, которая в иудействе и христианстве домогается власти, т. е. для *жреческой* породы, – décadence есть только средство: эта порода людей имеет свой жизненный интерес в том, чтобы сделать человечество *больным,* чтобы понятия «добрый» и «злой», «истинный» и «ложный» извратить в опасном для жизни смысле, являющемся клеветою на мир. —

25

История Израиля неоценима, как типичное изображение того процесса, посредством которого естественные ценности *лишались всякой естественности:* я отмечаю этот процесс пятью фактами. Первоначально, во времена Царей, и Израиль стоял ко всем вещам в *правильном,* т. е. естественном, отношении. Его Иегова был выражением сознания власти, радости, надежды на себя: в нем ожидали победы и спасения, с ним доверяли природе, что она дает то, в чем нуждается народ, и прежде всего дождь. Иегова – Бог Израиля и, *следовательно,* Бог справедливости: такова логика всякого народа, который обладает силою и с чистой совестью пользуется ею. В празднествах выражаются обе эти стороны самоутверждения народа: он благодарен за великие судьбы, которые возвышают, он благодарен за круговую смену времен года, за всю свою удачу в скотоводстве и земледелии. – Это положение долго оставалось идеалом уже и после того, как ему был положен печальный конец, анархией внутри, ассириянами извне. Но народ выше всего ценил образ царя – хорошего солдата и вместе с тем строгого судью: так понимал это прежде всего Исайя – этот типичный пророк (т. е. критик и сатирик момента). – Но надежда не осуществлялась. Старый Бог ничего более не *мог* из того, что мог он ранее. От него должны были бы отказаться. Что же случилось? *Изменили* понятие о нем, – это понятие *лишили естественности;* этой ценой его *удержали.* – Иегова – Бог «справедливости» – *более не составляет* единства с Израилем, он не служит выражением народного самосознания: он только условный Бог… Понятие о нем сделалось орудием в руках жрецов-агитаторов, которые теперь истолковывали всякое счастье как награду, всякое несчастье – как наказание за непослушание против Бога, как «грех»: извращенная манера мнимого «нравственного миропорядка», посредством которого раз навсегда извращаются естественные понятия «причина» и «действие». Теперь, когда с наградой и наказанием изгнана была из мира естественная причинность, явилась потребность в *противоестественной* причинности; отсюда следует вся дальнейшая противоестественность. Бог, который *требует,* – вместо Бога, который помогает, советует, который в основе является словом для всякого счастливого вдохновения мужества и самодоверия… *Мораль* не является уже более выражением условий, необходимых для жизни и роста народа, его глубочайшего инстинкта жизни, но, сделавшись абстрактною, становится противоположностью жизни, – мораль как коренное извращение фантазии, «дурной глаз» по отношению к миру. *Что* такое еврейская, *что* такое христианская мораль? Случай, лишенный своей невинности, несчастье, осквернение понятием «греха», благосостояние как опасность, как «искушение», физиологически плохое самочувствие, отравленное червем совести…

26

Понятие о Боге извращено; понятие о морали извращено: но на этом не остановилось еврейское жречество. Можно было обойтись и без всей *истории* Израиля: прочь ее… Эти жрецы устроили чудо из искажения, документальным доказательством которого является

перед нами добрая часть Библии: прошлое собственного народа они *перенесли в религию* с полным надругательством над всяким преданием, над всякой исторической действительностью, иначе говоря, сделали из этого прошлого тупой механизм спасения, соединивши вину против Иеговы с наказанием, благочестие с наградой. Этот позорнейший акт исторического извращения мы чувствовали бы гораздо болезненнее, если бы тысячелетнее *церковное* истолкование истории не притупило в нас требования к честности in historicis. А церкви вторили философы: *ложь* «нравственного миропорядка» проходит через все развитие даже новейшей философии. Что означает «нравственный миропорядок»? То, что раз навсегда существует Божья воля на то, что человек может делать и чего не может, что ценность народа и отдельной личности измеряется тем, как много или мало он повинуется Божьей воле; что в судьбах народа и отдельной личности воля Божья оказывается *господствующей,* т. е. наказывающей и награждающей, сообразно со степенью послушания. – *Действительность* вместо этой жалкой лжи гласит: тот человек – паразит, который преуспевает на счет всего здорового в жизни, т. е. *жрец,* злоупотребляет именем Бога: такое положение вещей, при котором жрец определяет ценности, он называет «Царством Божьим», средство, при помощи которого достигается или поддерживается такое состояние, он называет «волей Божьей»; с хладнокровным цинизмом мерит он народы, времена, отдельные личности меркою полезности или вреда для власти жрецов. В самом деле: в руках еврейских жрецов *великое* время истории Израиля сделалось временем упадка; изгнание, продолжительное несчастье, обратилось в вечное *наказание* за прошлые великие времена, за те времена, когда жрец еще был ничем. Из сильных, весьма *свободных,* удачных образов истории Израиля они сделали, сообразуясь с потребностями, жалких проныр и ханжей или «безбожников»; психологию всякого великого события они упростили идиотской формулой «послушания *или* непослушания Богу». Еще шаг далее: «Божья воля» (т. е. условие для поддерживания власти жреца) должна быть *известна,* – для этой цели необходимо «откровение». По-немецки: является необходимость в великой литературной фальсификации – открывается «Священное Писание»; оно делается публичным со всей иерархической помпой, с покаянными днями, с воплями горести о «грехах». «Воля Божья» уже давно известна: вся беда в том, что чуждаются «Священного Писания»… Уже Моисей открыл «волю Божью»… Что же произошло? Раз навсегда, со строгостью, с педантизмом, формулировал жрец, *что хочет он иметь,* «в чем Божья воля», вплоть до больших и малых податей, которые должны были платить ему (не были забыты и самые вкусные куски мяса, так как жрец есть пожиратель бифштексов)… И с тех пор вся жизнь устраивается так, что *нигде нельзя обойтись* без жреца; во всех естественных событиях жизни – при рождении, браке, болезни, смерти, не говоря о «жертве» (трапезе), – является священный паразит, чтобы *лишить все это естественности,* «освятить» их, выражаясь его языком… Ибо нужно же понять это: всякий естественный обычай, всякое естественное учреждение (государство, судоустройство, брак, попечение о бедных и больных), всякое требование, исходящее от инстинкта жизни, – короче, все, что имеет свою цену *в самом себе,* через паразитизм жреца (или «нравственный миропорядок») в основе своей лишается ценности, становится *противоценным,* и даже более того: в дополнение требуется санкция, – необходима *сообщающая ценность* сила, которая, отрицая природу, сама *создает* ценность… Жрец обесценивает природу, *лишает ее святости:* этой ценой он существует вообще. – Неповиновение Богу, т. е. жрецу, «закону», получает теперь имя «греха»; средствами для «примирения с Богом», само собой, являются такие средства, которые основательнее обеспечивают подчинение жрецу: только жрец «спасает». В каждом жречески организованном обществе психологически неизбежными делаются «грехи»: они факторы власти, жрец *живет* грехами, он нуждается в том, чтобы «грешили»… Высшее положение: «Бог прощает тому, кто раскаивается»; по-немецки: *кто подчиняется жрецу.* —

27

На такой-то *ложной* почве, где все естественное, всякая естественная ценность, всякая *реальность* возбуждала против себя глубочайшие инстинкты господствующего класса, выросло *христианство,* самая острая форма вражды к реальности, какая только до сих пор существовала. «Святой народ», удержавший для всего только жреческие оценки, только жреческие слова, и с ужасающей последовательностью заклеймивший все, что на земле представляло еще силу, словами «нечестивый», «мир», «грех», – этот народ выдвинул для своего инстинкта последнюю формулу, которая в своей логике доходила до самоотрицания: в лице *христианства* он отрицал последнюю форму реальности – он отрицал «святой народ», «избранный народ», самое *иудейскую* реальность. Случай первого ранга: маленькое мятежное движение, окрещенное именем Иисуса из Назарета, *еще раз* представляет собою иудейский инстинкт, иначе говоря, жреческий инстинкт, который не выносит уже более жреца как реальность, который изобретает еще *более отвлеченную* форму существования, еще *менее реальное* представление о мире, чем то, которое обусловливается учреждением церкви. Христианство *отрицает* церковь…

Я не понимаю, против чего иного могло направляться восстание, зачинщиком которого, по справедливости или *по недоразумению,* считается Иисус, если это не было восстанием против еврейской церкви, принимая «церковь» в том смысле, какой дается этому слову теперь. Это было восстанием против «добрых и справедливых», против «святых Израиля», против общественной иерархии, – *не* против их испорченности, но против касты, привилегии, порядка, формулы, это было *неверие* в «высших людей», это было *отрицание* всего, что было жрецом и теологом. Но иерархия, которая всем этим хотя бы на одно мгновение подвергалась сомнению, была той сваей, на которой еще продолжал удерживаться посреди «воды» иудейский народ, с трудом достигнутая *последняя* возможность уцелеть, residuum его обособленного политического существования: нападение на нее было нападением на глубочайший инстинкт народа, на самую упорную народную волю к жизни, которая когда-либо существовала на земле. Этот святой анархист, вызвавший на противодействие господствующему порядку низший народ, народ изгнанных и «грешников», чандалы внутри еврейства, речами, которые, если верить Евангелию, еще и теперь могли бы довести до Сибири, – он был политическим преступником, поскольку таковой возможен в обществе, *до абсурда неполитическом.* Это привело его на крест: доказательством может служить надпись на кресте. Он умер за *свою* вину, – нет никакого основания утверждать, как бы часто это ни делали, что он умер за вину других. —

28

Совсем иной вопрос, сознавал ли он вообще этот антагонизм или лишь другие в нем его *чувствовали.* Здесь я впервые касаюсь проблемы *психологии Спасителя.* – Я признаюсь, что мало книг читаю с такими затруднениями, как Евангелия. Эти затруднения не те, в разъяснении которых ученая любознательность немецкого духа праздновала свой самый незабвенный триумф. Далеко то время, когда и я, подобно всякому молодому ученому, с благоразумной медлительностью утонченного филолога смаковал произведение несравненного Штрауса. Тогда мне было 20 лет: теперь я слишком серьезен для этого. Какое мне дело до противоречий «предания»? Как можно вообще назвать «преданием» легенду о святых? Истории святых – это самая двусмысленная литература, какая вообще только существует: применять научные методы там, *где отсутствуют какие-либо документы,* представляется мне с самого начала делом совершенно безнадежным, ученым праздномыслием…

29

Что касается *меня,* то мне интересен психологический тип Спасителя. Он *мог бы* даже удержаться в Евангелиях, вопреки Евангелиям, как бы его ни калечили и какими бы чуждыми чертами его ни наделяли: так удержался тип Франциска Ассизского в легендах о нем, вопреки этим легендам. Истина *не* в том, что он сделал, что сказал, как он, собственно, умер; но важен вопрос, *можно ли* представить его тип, даются ли «преданием» черты для его представления. Я знаю попытку вычитать из Евангелия даже *историю* «души»; это представляется мне доказательством психологического легкомыслия, достойного презрения. Господин Ренан, этот гаер in psychologicis, для объяснения типа Иисуса дал два *самых неуместных* понятия, какие только возможны: понятие *гений* и понятие *герой* (héros). Но что только можно назвать неевангельским, так это именно понятие «герой». Как раз все, противоположное борьбе, противоположное самочувствию борца, является здесь как инстинкт: неспособность к противодействию делается здесь моралью («не противься злому» – глубочайшее слово Евангелия, его ключ в известном смысле); блаженство в мире, в кротости, в *неспособности* быть врагом. Что такое «благовестие»? – Найдена истинная жизнь, вечная жизнь – она не только обещается, но она тут, она *в вас:* как жизнь в любви, в любви без уступки и исключения, без дистанции. Каждый есть дитя Божье – Иисус ни на что не имеет притязания для себя одного, – как дитя Божье, каждый равен каждому… И из Иисуса делать героя! – А что за недоразумение со словом «гений»! Все наше понятие о «духе», целиком культурное понятие, – в том мире, в котором живет Иисус, не имеет никакого смысла. Говоря со строгостью физиолога, здесь было бы уместно совершенно иное слово, слово «идиот». Мы знаем состояние болезненной раздражительности *чувства осязания,* которое производит содрогание при всяком дотрагивании, при всяком прикосновении твердого предмета. Представим подобный физиологический habitus в его последнем логическом выражении: как инстинкт ненависти против *всякой* реальности, как бегство в «непостижимое», в «необъяснимое», как отвращение от всякой формулы, от всякого понятия, связанного с временем и пространством, от всего, что твердо, что есть обычаи, учреждения, церковь, как постоянное пребывание в мире, который не соприкасается более ни с каким родом реальности, в мире лишь «внутреннем», «истинном», «вечном». «Царство Божье *внутри вас*»…

30

Инстинктивная ненависть против реальности: это есть следствие крайней чувствительности к страданию и раздражению, избегающей вообще всякого «прикосновения», потому что оно ощущается ею слишком глубоко.

Инстинктивное отвращение от всякого нерасположения, от всякой вражды, от всех границ и расстояний в чувстве: следствие крайней чувствительности к страданию и раздражению, которая всякое противодействие, всякую необходимость противодействия ощущает как невыносимое *отвращение* (т. е. как *вредное,* как *отрицаемое* инстинктом самосохранения), блаженство же свое (удовольствие) видит в том, чтобы ничему и никому не оказывать противодействия – ни злу, ни злому, – любовь как единственная, как *последняя* возможность жизни…

Это две *физиологические реальности,* на которых, из которых выросло учение спасения. Я называю их высшим развитием гедонизма, на вполне болезненной основе. Близкородственным ему, хотя с большим придатком греческой жизненности и нервной силы, является эпикуреизм, языческое учение спасения. Эпикур – *типичный* décadent, впервые признанный таковым мною. – Боязнь боли, даже бесконечно малого в боли, *не может* иметь иного конца, как только в *религии любви*…

31

Я предвосхитил свой ответ на проблему. Предпосылкой для него является то, что тип Спасителя мы получили только в сильном искажении. Это искажение само по себе очень правдоподобно. Такой тип по многим основаниям не мог остаться чистым, цельным, свободным от примесей. На нем должна была оставить следы и среда, в которой вращался этот чуждый образ, еще более история, *судьба* первой христианской общины: она обогатила этот тип такими чертами, которые делаются понятными только в целях борьбы или пропаганды. Тот странный и больной мир, в который вводят нас Евангелия, – мир как бы из одного русского романа, где сходятся отбросы общества, нервное страдание и «ребячество» идиота, – этот мир должен был при всех обстоятельствах сделать тип более *грубым:* в особенности первые ученики, чтобы хоть что-нибудь понять, переводили это бытие, расплывающееся в символическом и непонятном, на язык собственной грубости, – для них тип существовал только после того, как он *отлился* в более знакомые формы… Пророк, Мессия, будущий судья, учитель морали, чудотворец, Иоанн Креститель, – вот сколько было обстоятельств, чтобы извратить тип… Наконец, не будем низко оценивать proprium всякого великого почитания, в особенности сектантского почитания: оно сглаживает оригинальные, часто мучительно-чуждые, черты и идиосинкразии в почитаемом существе – *оно даже их не видит. Можно было* бы пожалеть, что вблизи этого интереснейшего из décadents не жил какой-нибудь Достоевский, т. е. кто-либо, кто сумел бы почувствовать захватывающее очарование подобного смешения возвышенного, больного и детского. Еще одна точка зрения: тип *мог бы,* как тип décadence, фактически совмещать в себе многое и противоречивое: такая возможность не исключается вполне. Однако все говорит против этого именно: предание должно было бы в этом случае быть вполне верным и объективным – а все заставляет предполагать противоположное. Обнаруживается зияющее противоречие между проповедником на горах, море и лугах, появление которого так же приятно поражает, как появление Будды, хотя не на индийской почве, и тем фанатиком нападения, смертельным врагом теологов и жрецов, которого злость Ренана прославила как «le grand maître en ironie»[7]. Я сам не сомневаюсь в том, что обильная мера желчи (и даже esprit) перелилась в тип учителя из возбужденного состояния христианской пропаганды: достаточно известна беззастенчивость всех сектантов, которые стряпают себе *апологию* из своего учителя. Когда первой общине понадобился судящий, сварливый, гневающийся, злостный, хитрый теолог *против* теолога, она *создала* себе по своим потребностям своего «Бога»: без колебания она вложила в его уста те вполне не евангельские понятия, без которых она не могла обойтись, каковы: «будущее Пришествие», «Страшный суд», всякий род ожидания и обещания. —

32

Еще раз говорю, что я против того, чтобы в тип Спасителя вносить фанатизм: слово impérieux[8], которое употребил Ренан, одно *уничтожает* тип. «Благовестие» и есть именно благая весть о том, что уже не существует более противоречий: Царство Небесное принадлежит *детям;* вера, которая здесь заявляет о себе, не приобретается завоеванием; она тут, она означает возвращение к детству в области психического. Подобные случаи замедленной зрелости и недоразвитого организма, как следствия дегенерации, известны по крайней мере физиологам. – Такая вера не гневается, не порицает, не обороняет себя: она не приносит «меч»,

[7] Великий мастер иронии (*фр.*).

[8] Властный (*фр.*).

она не предчувствует, насколько она может сделаться началом разъединяющим. Она не нуждается в доказательствах ни чудом, ни наградой и обещанием, ни «даже писанием»: она сама всякое мгновение есть свое чудо, своя награда, свое доказательство, свое «Царство Божье». Эта вера даже не формулирует себя – она *живет,* она отвращается от формул. Конечно, случайность среды, языка, образования определяет круг понятий: первое христианство владеет *только* иудейско-семитическими понятиями (сюда относится еда и питье при причастьи, которыми так злоупотребляет церковь, как всем еврейским). Но пусть остерегаются видеть здесь что-нибудь более чем язык знаков, семиотику, повод для притчи. Ни одно слово этого антиреалиста не должно приниматься буквально, – вот предварительное условие для того, чтобы он вообще мог говорить. Между индусами он пользовался бы понятиями Санкхьи, среди китайцев – понятиями Лао-цзы, и при этом не чувствовал бы никакой разницы. – Можно было бы с некоторой терпимостью к выражению назвать Иисуса «свободным духом» – для него не существует ничего устойчивого: *слово убивает;* все, что устойчиво, *то убывает.* Понятие «жизни», *опыт* «жизни», какой ему единственно доступен, противится у него всякого рода слову, формуле, закону, вере, догме. Он говорит только о самом внутреннем: «жизнь», или «истина», или «свет» – это его слово для выражения самого внутреннего; все остальное, вся реальность, вся природа, даже язык, имеет для него только ценность знака, притчи. – Здесь нельзя ошибаться насчет того, как велик соблазн, который лежит в христианском, точнее сказать, в *церковном* предрассудке: такой символист par excellence стоит вне всякой религии, всех понятий культа, всякой истории, естествознания, мирового опыта, познания, политики, психологии, вне всяких книг, вне искусства, – его «знание» есть *чистое безумие,* не ведающее, что есть что-нибудь подобное. О *культуре* он не знает даже и понаслышке, ему нет нужды бороться против нее, он ее не отрицает… То же самое по отношению к *государству,* ко всему гражданскому порядку и обществу, к *труду,* к войне, – он никогда не имел основания отрицать «мир»; он никогда не предчувствовал церковного понятия «мир»… *Отрицание* для него есть нечто совершенно невозможное. – Подобным же образом нет и диалектики, нет представления о том, что веру, «истину» можно доказать доводами *(его* доказательства – это внутренний «свет», внутреннее чувство удовольствия и самоутверждения, только «доказательства от силы»). Такое учение также не *может* противоречить, оно не постигает, что существуют, что *могут* существовать другие учения, оно не умеет представить себе противоположное рассуждение… Где бы оно ни встретилось с ним, оно будет печалиться с самым глубоким сочувствием о «слепоте» – ибо оно само видит «свет» – но не сделает никакого возражения…

33

Во всей психологии Евангелия отсутствует понятие вины и наказания; равно как и понятие награды. «Грех», все, чем определяется расстояние между Богом и человеком, уничтожен, – *это и есть «благовестие».* Блаженство не обещается, оно не связывается с какими-нибудь условиями: оно есть *единственная* реальность: остальное – символ, чтобы говорить о нем…

Следствие подобного состояния проецируется в новую *практику,* собственно в евангельскую практику. Не «вера» отличает христианина. Христианин действует, он отличается *иным* образом действий. Ни словом, ни в сердце своем он не противодействует тому, кто обнаруживает зло по отношению к нему. Он не делает различия между чужим и своим, между иудеем и не иудеем («ближний» в собственном смысле слова есть иудей, единоверец). Он ни на кого не гневается, никого не презирает. Он не появляется на суде и не позволяет привлекать себя к суду («не клянись вовсе»). Он ни при каких обстоятельствах не разведется с женой, даже в случае доказанной неверности ее. – Всё в основе – *один* принцип, всё – следствие *одного* инстинкта. —

Жизнь Спасителя была не чем иным, как *этой* практикой, не чем иным была также и его смерть. Он не нуждался более ни в каких формулах, ни в каком обряде для обхождения с Богом, ни даже в молитве. Он всецело отрешился от иудейского учения раскаяния и примирения; он знает, что это есть единственная жизненная *практика,* с которой можно себя чувствовать «божественным», «блаженным», «евангелическим», во всякое время быть как «дитя Божье». *Не* «раскаяние», не «молитва о прощении» суть пути к Богу: *одна евангельская практика* ведет к Богу, она и *есть* «Бог»! – То, с чем *покончило* Евангелие, это было иудейство в понятиях «грех», «прощение греха», «вера», «спасение через веру», – все иудейское учение *церкви* отрицалось «благовестием».

Глубокий инстинкт, как должно *жить,* чтобы чувствовать себя на «небесах», чтобы чувствовать себя «вечным», между тем как при всяком ином поведении совсем *нельзя* чувствовать себя «на небесах», – это единственно и есть психологическая реальность «спасения». – Новое поведение, но не новая вера…

34

Если я что-нибудь понимаю в этом великом символисте, так это то, что только *внутренние* реальности он принимал как реальности, как «истины», – что остальное все, естественное, временное, пространственное, историческое, он понимал лишь как символ, лишь как повод для притчи. Понятие «Сын Человеческий» не есть конкретная личность, принадлежащая истории, что-нибудь единичное, единственное, но «вечная» действительность, психологический символ, освобожденный от понятия времени. То же самое, но в еще более высоком смысле можно сказать и о *Боге* этого типичного символиста, о «Царстве Божьем», о «Царстве Небесном», о «Сыновности Бога». Ничего нет более не христианского, как *церковные грубые понятия* о Боге *как личности, о грядущем* «Царстве Божьем», о *потустороннем* «Царстве Небесном», о «Сыне Божьем», *втором лице* Св. Троицы. Все это выглядит – мне простят выражение – неким кулаком в глаз: о, в какой глаз! – евангельский: *всемирно-исторический цинизм* в поругании символа… А между тем очевидно, как на ладони, что́ затрагивается символами «Отец» и «Сын», – допускаю, что не на каждой ладони: словом «Сын» выражается *вступление* в чувство общего просветления (блаженство); словом «Отец» – *само это чувство,* чувство вечности, чувство совершенства. – Мне стыдно вспомнить, что сделала церковь из этого символизма: не поставила ли она на пороге христианской «веры» историю Амфитриона? И еще сверх того догму о «непорочном зачатии»?.. *Но этим она опорочила зачатие…*

«Царство Небесное» есть состояние сердца, а не что-либо, что «выше земли» или приходит «после смерти». В Евангелии *недостает* вообще понятия естественной смерти: смерть не мост, не переход, ее нет, ибо она принадлежит к совершенно иному, только кажущемуся, миру, имеющему лишь символическое значение. «Час смерти» *не* есть христианское понятие. «Час», время, физическая жизнь и ее кризисы совсем не существуют для учителя «благовестия»… «Царство Божье» не есть что-либо, что можно ожидать; оно не имеет «вчера» и не имеет «послезавтра», оно не приходит через «тысячу лет» – это есть опыт сердца; оно повсюду, оно нигде…

35

Этот «благовестник» умер, как и жил, как и *учил, – не* для «спасения людей», но чтобы показать, как нужно жить. То, что оставил он в наследство человечеству, есть *практика,* его поведение перед судьями, преследователями, обвинителями и всякого рода клеветой и насмешкой – его поведение на *кресте.* Он не сопротивляется, не защищает своего права, он не делает ни шагу, чтобы отвратить от себя самую крайнюю опасность, более того – *он вызывает*

ее… И он молит, он страдает, он любит *с* теми, *в* тех, которые делают ему зло. В словах, обращенных к *разбойнику* на кресте, содержится все Евангелие. «Воистину это был *Божий* человек, Сын Божий!» – сказал разбойник. «Раз ты чувствуешь это, – ответил Спаситель, – значит, *ты в Раю,* значит, ты сын Божий». *Не* защищаться, *не* гневаться, *не* привлекать к ответственности… Но также не противиться злому, – *любить* его…

36

– Только мы, *ставшие свободными* умы, имеем подготовку, чтобы понять то, чего не понимали девятнадцать веков, – мы имеем правдивость, обратившуюся в инстинкт и страсть и объявляющую войну «святой лжи» еще более, чем всякой иной лжи… Люди были несказанно далеки от нашего нейтралитета, полного любви и предусмотрительности, от той дисциплины духа, при помощи которой единственно стало возможным угадывание столь чуждых, столь тонких вещей: во все иные времена люди с бесстыдным эгоизмом желали только *своей* выгоды; воздвигли *церковь* в противоположность Евангелию…

Кто искал бы знамений того, что позади великой игры миров скрыт перст какого-то насмешливого божества, тот нашел бы не малое доказательство в том *чудовищном вопросительном знаке,* который зовется христианством. Что человечество преклоняется перед противоположностью того, что было происхождением, смыслом, *правом* Евангелия, что оно в понятии «церковь» признало за святое как раз то, что «благовестник» чувствовал стоящим *ниже* себя, *позади* себя, – напрасно искать большего проявления *всемирно-исторической иронии.* —

37

– Наш век гордится своим историческим чувством; как можно было поверить такой бессмыслице, что в начале христианства стоит *грубая басня о чудотворце и Спасителе,* – и что все духовное и символическое есть только позднейшее развитие? Наоборот: история христианства – и именно от смерти на кресте – есть история постепенно углубляющегося грубого непонимания *первоначального* символизма. С распространением христианства на более широкие и грубые массы, которым недоставало все более и более источников христианства, – становилось все необходимее делать христианство *вульгарным, варварским,* – оно поглотило в себя учения и обряды всех *подземных* культов imperii Romani, всевозможную бессмыслицу больного разума. Судьба христианства лежит в необходимости сделать самую веру такой же болезненной, низменной и вульгарной, как были болезненны, низменны и вульгарны потребности, которые оно должно было удовлетворять. *Больное варварство* суммируется наконец в силу в виде церкви, этой формы, смертельно враждебной всякой правдивости, всякой *высоте* души, всякой дисциплине духа, всякой свободно настроенной и благожелательной гуманности. – *Христианские* ценности – *аристократические* ценности. Только мы, *ставшие свободными* умы, снова восстановили эту величайшую из противоположностей, какая только когда-либо существовала между ценностями! —

38

– Здесь я не могу подавить вздоха. Бывают дни, когда меня охватывает чувство черной, самой черной меланхолии, – это *презрение к человеку.* Чтобы не оставить никакого сомнения в том, *что* я презираю, *кого* я презираю, – это теперешнего человека, человека, которому я роковым образом являюсь современником. Теперешний человек – я задыхаюсь в его нечистом дыхании… По отношению к прошедшему я, как и все познающие, обладаю большой тер-

пимостью, так сказать *великодушным* самопринуждением: с мрачной осмотрительностью прохожу я через мир, в течение целых тысячелетий представляющий собою сумасшедший дом, называется ли этот мир «христианством», «христианской верой» или «христианской церковью», – я остерегаюсь делать человечество ответственным за его душевные болезни. Но чувство мое возмущается, отвращается, как только я вступаю в новейшее время, в *наше* время. Наше время есть время *знания*… Что некогда было только болезненным, теперь сделалось неприличным – неприлично теперь быть христианином. *Вот тут-то и начинается мое отвращение.* – Я осматриваюсь вокруг: не осталось более ни одного слова из того, что некогда называлось «истина», нам просто невмоготу уже одно только выговаривание жрецом слова «истина». Даже при самом скромном притязании на честность, *до́лжно* теперь признать, что теолог, жрец, папа, с каждым положением, которое он высказывает, не только заблуждается, но *лжет;* что он уже не волен лгать по «невинности», по «незнанию». Жрец знает так же хорошо, как и всякий, что нет никакого «Бога», никакого «грешника», никакого «Спасителя», – что «свободная воля», «нравственный миропорядок» есть *ложь:* серьезность, глубокое самопреодоление духа никому более не *позволяет не* знать этого… *Все* понятия церкви опознаны за то, что они есть, т. е. за самую злостную фабрикацию фальшивых монет, какая только возможна, с целью *обесценить* природу, естественные ценности; сам жрец признан таковым, каков он есть, т. е. опаснейшим родом паразита, настоящим ядовитым пауком жизни… Мы знаем, наша *совесть* знает теперь, *какова* вообще цена тех зловещих изобретений жрецов и церкви, *для чего служили* эти изобретения, при помощи которых человечество достигло того состояния саморастления, вид которого внушает отвращение: понятия «по ту сторону», «Страшный суд», «бессмертие души», сама «душа» – это орудия пытки, это системы жестокостей, при помощи которых жрец сделался господином и остался таковым… Каждый это знает: *и, несмотря на это, все остается по-старому.* Куда девались остатки чувства приличия, уважения самих себя, когда даже наши государственные люди, в других отношениях очень беззастенчивые люди и фактически насквозь антихристиане, еще и теперь называют себя христианами и идут к причастию? Юный государь во главе полков, являясь в своем великолепии выражением эгоизма и высокомерия своего народа, признает *без* всякого стыда себя христианином!.. Но тогда *кого же* отрицает христианство? *что* называет оно «миром»? Солдата, судью, патриота, все, что защищается, что держится за свою честь, что ищет своей выгоды, что имеет *гордость*… Всякая практика каждого момента, всякий инстинкт, всякая оценка, переходящая в *дело,* – все это теперь антихристианское: каким *выродком фальшивости* должен быть современный человек, если он, несмотря на это, не *стыдится* еще называться христианином!

39

– Я возвращаюсь, я рассказываю *истинную* историю христианства. – Уже слово «христианство» есть недоразумение, – в сущности, был только один христианин, и он умер на кресте. «Евангелие» *умерло* на кресте. То, что с этого мгновения называется «Евангелием», было уже противоположностью *его* жизни: «*дурная* весть», Dysangelium. До бессмыслицы лживо в «вере» видеть примету христианина, хотя бы то была вера в спасение через Христа; христианской может быть только христианская *практика,* т. е. такая жизнь, какою *жил* тот, кто умер на кресте… Еще теперь возможна *такая* жизнь, для *известных* людей даже необходима: истинное, первоначальное христианство возможно во все времена. *Не* верить, но делать, а прежде всего многого *не* делать, иное *бытие*… Состояния сознания, когда веришь или считаешь что-нибудь за истинное, – каждый психолог знает это, – такие состояния совершенно незначительны и пятистепенны по сравнению с ценностью инстинктов: строго говоря, все понятие духовной причинности ложно. Сводить христианское настроение лишь к признанию истины, к голому состоянию сознания – значит отрицать христианство. *На самом деле вовсе не было христиан.*

«Христианин», то, что в течение двух тысячелетий называется христианином, есть психологическое самонедоразумение. Если смотреть прямее, то в нем господствовали, *вопреки* всякой вере, *только* инстинкты – и *что за инстинкты!* – «Вера» была во все времена, как у Лютера, только мантией, предлогом, завесой, за которой инстинкты разыгрывали свою игру, – благоразумная *слепота* относительно господства *известных* инстинктов. «Вера» – я уже называл ее собственно христианским *благоразумием,* – всегда *говорили о* «вере», *действовали же* по инстинкту… В мире представлений христианина нет ничего, что хотя бы только касалось действительности: напротив, в корне христианства мы признали единственным деятельным элементом инстинктивную ненависть *ко* всякой действительности. Что из этого следует? То, что здесь in psychologicis заблуждение является радикальным, т. е. значимым по существу, т. е. самой субстанцией. Удалим *одно* понятие, поставим на место его одну-единственную реальность, и все христианство низвергается в ничто! – Если смотреть с высоты, то это самый странный из всех фактов: эта религия, не только обусловленная заблуждениями, но и до гениальности изобретательная во вредных, отравляющих жизнь и сердце заблуждениях, эта религия остается *зрелищем для богов,* для тех божеств, которые вместе с тем и философы и с которыми я, например, встречался в знаменитых диалогах на Наксосе. В то мгновение, когда отступает от них *отвращение* (и от нас *также*!), они проникаются благодарностью за зрелище христианина: жалкая, маленькая звезда, называемая Землей, быть может, только ради *этого* курьезного случая заслуживает божественного взгляда, божественного участия… Не будем же низко ценить христианина; христианин, фальшивый *до невинности,* высоко поднимается над обезьяной: по отношению к христианину знаменитая теория происхождения – только учтивость…

40

– Судьба Евангелия была решена смертью, оно было распято на «кресте». Только смерть, эта неожиданная позорная смерть, только крест, который вообще предназначался лишь для canaille, – только этот ужаснейший парадокс поставил учеников перед настоящей загадкой: *«кто это был? что это было?»* Потрясенное и до глубины оскорбленное чувство, подозрение, что такая смерть может быть *опровержением* их дела, страшный вопросительный знак «почему именно так?» – такое состояние слишком понятно. Здесь все *должно* было быть необходимо, все должно было иметь смысл, разум, высший разум; любовь ученика не признает случайности. Теперь только разверзлась пропасть: *«кто* его убил? *кто* был его естественным врагом?» – этот вопрос блеснул, как молния. Ответ: *господствующее* иудейство, его высшее сословие. С этого мгновенья почувствовали в себе возмущение *против* порядка, вслед за тем поняли и Иисуса, как *возмущение против* порядка. До сих пор в его образе *недоставало* этой черты – воинственной, отрицающей словом и делом; даже более, в нем было обратное этому. Очевидно, маленькая община именно *не* поняла главного, символического в таком способе смерти, свободу, превосходство *над* всяким чувством ressentiment: признак того, как мало вообще они его понимали! Сам Иисус ничего не мог пожелать в своей смерти, как только открыто дать сильнейший опыт, *доказательство* своего учения. Но его ученики были далеки от того, чтобы *простить* эту смерть, – что было бы в высшей степени по-евангельски, – или *отдать себя* такой же смерти с нежным и мягким спокойствием души… Всплыло наверх как раз в высшей степени неевангельское чувство, чувство *мести.* Сделалось невозможным, чтобы дело окончилось с этой смертью: явилась нужда в «возмездии», в «суде» (и, однако, что может быть более неевангельским, чем «возмездие», «наказание», «суд»!). Еще раз явилось на переднем плане популярное ожидание Мессии: исторический момент был уловлен: «Царство Божье» наступит, чтобы судить его врагов… Но этим все сделалось непонятным: «Царство Божье» как заключительный акт, как обещание! Евангелие было именно бытие, исполнение, *действительность* этого Царствия. Именно такая смерть *была* как раз «Царством Божьим». Теперь только вклю-

чили в тип учителя все презрение и горечь к фарисеям и теологам и этим *сделали* из него фарисея и теолога. С другой стороны, необузданное прославление этих совершенно выскочивших из колен душ не выдерживало более того евангельского утверждения равенства всех как детей Божьих, которому учил Иисус; местью их было неумеренно *поднять* Иисуса, отделить его от себя: совершенно так, как некогда иудеи из мести к своим врагам отделились от своего Бога и подняли его на высоту. *Один* Бог и *один* Сын Божий: оба порождения ressentiment…

41

– И вот теперь всплыла абсурдная проблема: «как *мог* Бог допустить это!» На это поврежденный разум маленькой общины дал такой же поистине ужасный по своей абсурдности ответ: Бог отдал своего Сына для искупления грехов, как *жертву*. Так разом покончили с Евангелием! *Очистительная жертва,* и притом в самой отвратительной, в самой варварской форме, жертва *невинным* за грехи виновных! Какое страшное язычество! Иисус уничтожил даже самое понятие «вины», он совершенно отрицал пропасть между Богом и человеком, он *жизнью своей* представил это единство Бога и человека как *свое* «благовестие»… А *не* как преимущество! – С этого времени шаг за шагом в тип Спасителя внедряется учение о Суде и Втором Пришествии, учение о смерти как жертвенной смерти, учение о *Воскресении,* с которым из Евангелия фокуснически изымается все понятие «блаженства», единственная его реальность, в пользу состояния *после* смерти!.. Павел со всей наглостью раввина, которая так ему присуща, дал этому пониманию, этому распутству мысли, такое логическое выражение: *«если* Христос не воскрес, то вера наша тщетна»[9]. – И разом из Евангелия вышло самое презренное из всех неисполнимых обещаний, – *бесстыдное* учение о личном бессмертии… Павел учил о нем даже как о *награде*!..

42

Теперь уже видно, *чему* положила конец смерть на кресте: новому, самобытному стремлению к буддистскому спокойствию, к действительному, а *не* только обещанному *счастью на земле*. Ибо – как я уже указывал – основным различием между обеими религиями-décadence остается то, что буддизм не обещает, но исполняет, христианство же обещает всё, но *не исполняет ничего.* – За «благой вестью» последовала по пятам весть *самая скверная:* весть Павла. В Павле воплотился тип, противоположный «благовестнику», гений в ненависти, в видениях ненависти, в неумолимой логике ненависти. *Чего* только не принес этот dysangelist в жертву своей ненависти! Прежде всего Спасителя: он распял его на *своем* кресте. Жизнь, пример, учение, смерть, смысл и право всего Евангелия – ничего более не осталось, когда этот фальшивомонетчик путем ненависти постиг, в чем единственно он нуждается. *Не* в реальности, *не* в исторической истине!.. И еще раз жреческий инстинкт иудея учинил то же великое преступление над историей, – он просто вычеркнул вчера, позавчера христианства, он *изобрел историю первого христианства.* Даже более: он еще раз извратил историю Израиля, чтобы представить ее как предварительную историю для *своего* дела; все пророки говорили о *его* «Спасителе»… Церковь извратила позже даже историю человечества, обратив ее в предысторию христианства… Тип Спасителя, учение, практика, смерть, смысл смерти, даже то, что было после смерти, – ничто не осталось неприкосновенным, ничто не осталось даже напоминающим действительность. Павел просто переложил центр тяжести всего того бытия *за* это бытие – в *ложь* о «воскресшем» Иисусе. В сущности, ему не нужна была жизнь Спасителя – ему нужна была смерть

[9] 1 Коринф. 15, 14.

на кресте и кое-что еще… Поистине, было бы явной niaiserie со стороны психолога доверять Павлу, родиной которого была столица стоического просвещения, когда он выдавал за *доказательство* посмертной жизни Спасителя галлюцинацию, или доверять хотя бы даже его рассказу, что он имел эту галлюцинацию: Павел хотел цели, *следовательно,* он хотел и средства… Во что не верил он сам, в то верили те идиоты, среди которых он сеял *свое* учение. – *Его* потребностью была *власть;* при помощи Павла еще раз жрец захотел добиться власти, – ему нужны были только понятия, учения, символы, которыми тиранизируют массы, образуют стада. *Что* единственно заимствовал позже Магомет у христианства? Изобретение Павла, его средство к жреческой тирании, к образованию стада: веру в бессмертие, т. *е. учение о «Суде»*…

43

Когда жизненный центр тяжести переносят из жизни в «потустороннее» – в *ничто,* то тем самым вообще лишают жизнь центра тяжести. Великая ложь о личном бессмертии разрушает всякий разум, всякую естественность в инстинктах; все, что есть в инстинктах благодетельного, что способствует жизни, ручается за будущее, – возбуждает теперь недоверие. Жить *так,* чтобы не было более *смысла* жить, – *это* становится теперь «смыслом» жизни… К чему дух общественности, к чему еще благодарность за происхождение и предков, к чему работать вместе, к чему доверять, к чему способствовать общему благу и иметь его в виду?.. Все это «соблазны», все это отклонения от «истинного пути» – *«единое* есть на потребу»… Чтобы каждый, как «бессмертная душа», был равен каждому, чтобы в совокупности всего живущего «спасение» *каждой* отдельной единицы смело претендовать на вечность, чтобы маленькие святоши и на три четверти чокнутые смели воображать, что ради них постоянно *нарушаются* законы природы, такое беззастенчивое возведение всякого рода эгоизма в бесконечное, в *бесстыдное,* надо клеймить презрением в полной мере. И однако же христианство обязано своей *победой* именно *этому* жалкому тщеславию отдельной личности, – как раз этим самым оно обратило к себе всех неудачников, настроенных враждебно к жизни, потерпевших крушение, все отребья и отбросы человечества. «Спасение души» по-немецки: «мир вращается *вокруг меня»*… Яд учения *«равные* права для всех» христианство посеяло самым основательным образом. Из самых тайных уголков дурных инстинктов христианство создало смертельную вражду ко всякому чувству благоговения и почтительного расстояния между человеком и человеком, которое является *предусловием* для всякого повышения и роста культуры, – из ressentiment масс оно выковало *главное орудие* против *нас,* против всего благородного, радостного, великодушного на земле, против нашего счастья на земле… «Бессмертие», признаваемое за каждым Петром и Павлом, было до сего времени величайшим и злостнейшим посягательством на *аристократию* человечества. – *И* не будем низко ценить то роковое влияние, которое от христианства пробралось в политику! Никто теперь не имеет более мужества заявлять об особых правах, о правах господства, о чувстве почтения к себе, к другому, нет более *пафоса дистанции*… Наша политика *болеет* этим недостатком мужества! – Аристократизм настроения ложью о равенстве душ погребен окончательно; и если вера в «право большинства» делает революции и *будет их делать,* то нельзя сомневаться в том, что это – христианство, *христианские* суждения ценности, которые каждая революция только переводит в кровь и преступление! Христианство есть восстание всего по-земле-пресмыкающегося против того, что над ней *возвышается:* Евангелие «низших» *унижает*…

44

– Евангелия неоценимы как свидетельства уже неудержимой коррупции *внутри* первых общин. То, что позже Павел с логическим цинизмом раввина довел до конца, было лишь про-

цессом распада, начавшегося со смертью Спасителя. – При чтении этих Евангелий нужно быть как можно более осторожным: за каждым словом встречается затруднение. Я признаюсь, – и меня поддержат – что именно этим они доставляют психологу первостепенное удовольствие, – как *противоположность* всякой наивной испорченности, как утонченность par excellence[10], – как виртуозность в психологической испорченности. Евангелия ручаются сами за себя. Библия вообще стоит вне сравнения. Чтобы не потеряться здесь совершенно, прежде всего нужно помнить, что ты среди евреев. Игра в «святое», достигшая здесь такой гениальности, какой не достигала она нигде в другом месте – ни в книгах, ни среди людей, – жульничество в словах и жестах, как *искусство,* – это не есть случайность какой-нибудь единичной одаренности, какой-нибудь исключительной натуры. Это принадлежность *расы.* В христианстве, как искусстве свято лгать, все иудейство, вся наистрожайшая многовековая иудейская выучка и техника доходят до крайних пределов мастерства. Христианин, этот ultima ratio лжи, есть иудей во второй, даже *третьей степени*… Основная воля, направляемая только на то, чтобы обращаться с такими понятиями, символами, телодвижениями, которые доказываются из практики жреца, инстинктивное уклонение от всякой *другой* практики, от перспектив всякого *иного* рода оценок и полезностей – это не только традиция, это *наследственность:* лишь как наследственное действует оно, как природа. Все человечество, даже лучшие умы лучших времен (исключая одного, который, может быть, единственный – не человек) позволяли себя обманывать. Евангелие читали как *книгу невинности*… ни малейшего указания на то, с каким мастерством ведется здесь игра. – Конечно, если бы мы *видели* их, даже хотя бы мимоходом, всех этих удивительных лицемеров и фокусников-святых, то с ними было бы покончено – и именно потому, что *я* не читаю ни одного слова без того, чтобы не видеть жестов, *я и покончил с ними*… Я не выношу по отношению к ним известного способа смотреть снизу вверх. – К счастью, книги для большинства есть только *литература.* Нельзя позволять вводить себя в заблуждение: «не судите!» – говорят они, но сами посылают в ад все, что стоит у них на пути. Препоручая суд Богу, они судят сами; прославляя Бога, они прославляют самих себя; *требуя* тех добродетелей, которые как раз им свойственны, – даже более, которые им необходимы, чтобы вообще не пойти ко дну, – они придают себе величественный вид борьбы за добродетель, борьбы за господство добродетели. «Мы живем, мы умираем, мы жертвуем собою *за благо» (*«Истина», «Свет», «Царство Божье»): в действительности же они делают то, чего не могут не делать. Сидя в углу, ежась, как крот, живя в тени, как призрак, – они создают себе из этого *обязанность:* по обязанности жизнь их является смирением, как смирение она есть лишнее доказательство благочестия… Ах, этот смиренный, целомудренный, мягкосердый род лжи! – «За нас должна свидетельствовать сама добродетель»… Читайте Евангелия как книги соблазна при посредстве *морали:* эти маленькие люди конфискуют мораль, – они знают, как нужно обращаться с моралью! Люди всего лучше *водятся* за *нос моралью!* – реальность заключается в том, что здесь самое сознательное *самомнение избранников* разыгрывает скромность: *себя,* «общину», «добрых и справедливых» раз навсегда поставили на одну сторону, на сторону «истины», а все остальное, «мир», – на другую… *Это* был самый роковой род мании величия, какой когда-либо до сих пор существовал на земле: маленькие выродки святош и лжецов стали употреблять понятия «Бог», «истина», «свет», «дух», «любовь», «мудрость», «жизнь» как синонимы самих себя, чтобы этим отграничить от себя «мир»; маленькие евреи в суперлативе, зрелые для любого сумасшедшего дома, перевернули все ценности сообразно *самим себе,* как будто «христианин» был смыслом, солью, мерой, а также *последним судом* всего остального… Вся дальнейшая судьба предопределилась тем, что в мире уже существовал родственный по расе вид мании величия – *иудейский:* коль скоро разверзлась пропасть между иудеем и иудейским христианином, последнему не оставалось никакого иного выбора, как ту же процедуру само-

[10] Последнее основание (*лат.*).

поддержания, которую внушал иудейский инстинкт, обратить *против* самих иудеев, в то время как иудеи обращали ее до сих пор только против всего *не* иудейского. Христианин есть тот же еврей, только *«более свободного»* исповедания. —

45

– Я дам несколько примеров того, что засело в голову этих маленьких людей, что *вложили они в уста* своему учителю: это настоящее признание «прекрасных душ». —

«И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших, во свидетельство на них. Истинно говорю вам: отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу» (Марк 6,11). – Как это *по-евангельски!*..

«А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море» (Марк 9,42). – Как это *по-евангельски!*..

«И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает» (Марк 9,47). – Не глаз только здесь подразумевается…

«И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Марк 9,1). – Хорошо *солгал,* лев.

«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. *Ибо…» (Примечание психолога.* Христианская мораль опровергается этим «ибо»: опровергать ее «основы» – это по-христиански) (Марк 8,34).

«Не судите, да не судимы будете. Какою мерою мерите, такою и *вам* будут мерить» (Матф. 7,1). – Какое понятие о справедливости, о «праведном судии!..»

«Ибо, если вы будете любить любящих вас, *какая вам награда?* Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, *что особенного делаете?* Не так же ли поступают и мытари?» (Матф. 5,46). – Принцип «христианской любви»: она хочет быть в конце концов хорошо оплаченной…

«А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Матф. 6,15). – Очень компрометирует вышеназванного «Отца»…

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Матф. 6,33). – Все это: т. е. пища, одежда, все насущные потребности жизни. *Заблуждение,* скромно выражаясь… Незадолго перед этим Бог является портным, по крайней мере в известных случаях…

«Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, *ибо* велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их» (Лука 6,23). – *Бесстыдное* отродье! Они сравнивают себя уже с пророками!..

«Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, *того покарает Бог,* ибо храм Божий свят: а *этот храм – вы» (*Павел I к Коринф. 3,16). – Для подобного нет достаточной меры презрения…

«Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же *вами* будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» (Павел I к Коринф. 6,2). К сожалению, не только речь сумасшедшего… Этот *ужасный лжец* продолжает: «разве не знаете, *что мы* будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские!..»

«Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих… не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных. Но *Бог избрал немудрое мира,* чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы

упразднить значащее, – для того чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом» (Павел I к Коринф. 1,20 и далее). – Чтобы *понять* это место – перворазрядное свидетельство для психологии всякой морали чандалы, нужно прочесть первое рассмотрение моей «Генеалогии морали»: там впервые выведена на свет противоположность *аристократической* морали и морали чандалы, родившейся из ressentiment и бессильной мести. Павел был величайшим из всех апостолов мести…

46

– *Что из этого следует?* То, что хорошо делают, если надевают перчатки при чтении Нового Завета. Близость такой массы нечистоплотности почти вынуждает к этому. Мы так же мало желали бы общения с «первыми христианами», как и с польскими евреями, – не потому, чтобы мы имели что-нибудь против них: те и другие нехорошо пахнут. – Напрасно высматривал я в Новом Завете хотя бы одну симпатичную черту: там нет ничего, что можно бы было назвать свободным, добрым, откровенным, честным. Человечность не сделала здесь еще и своего первого шага, – недостает инстинктов *чистоплотности*… В Новом Завете только *дурные* инстинкты, и даже нет мужества к этим дурным инстинктам. Сплошная трусость, сплошное закрывание глаз и самообман. Всякая книга кажется чистоплотной, если ее читать вслед за Новым Заветом; так, например, непосредственно после Павла я читал с восхищением того прелестного, задорного насмешника Петрония, о котором можно было бы сказать то же, что Доменико Боккаччо написал герцогу Парма о Чезаре Борджа: «è tutto festo» – бессмертно здоровый, бессмертно веселый и удачливый… Эти маленькие ханжи просчитываются как раз в главном. Они нападают, но все то, на что они нападают, тем самым *получает отличие.* На кого нападает «первый христианин», тот *не* бывает этим замаран… Напротив: есть некоторая честь иметь против себя «первых христиан». Читая Новый Завет, отдаешь предпочтение всему, что он третирует, не говоря уже о «мудрости мира сего», которую дерзкий враль напрасно пытается посрамить «юродливой проповедью»… Даже фарисеи и книжники выигрывают от таких противников: должно же быть в них что-нибудь ценное, если их так неприлично ненавидят. Лицемерие, вот упрек, который смели бросить «первые христиане»! Достаточно того, что это были *привилегированные,* – ненависть чандалы не нуждается в других основаниях. «Первый христианин» – я боюсь, что и «последний», *которого, может быть, я еще переживу,* – по самым низменным инстинктам есть бунтовщик против всего привилегированного, – он живет, он борется всегда за *«равные права»*… Если приглядеться, то он не имеет иного выбора. Если хотят быть в собственном лице «избранниками Бога», или «храмом Божьим», или «судьею ангелов», то всякий *другой* принцип выбора, например принцип правдивости, ума, мужественности и гордости, красоты и свободы сердца, попросту «мира», – есть уже *зло само по себе*… Мораль: каждое слово в устах «первого христианина» есть ложь, каждый поступок, совершаемый им, есть инстинктивная ложь, – все его ценности, все его цели вредны, но *кого* он ненавидит, *что* он ненавидит, *то имеет ценность*… Христианин, христианский священник в особенности, есть *критерий ценностей*… Нужно ли говорить еще, что во всем Новом Завете встречается только *единственная* фигура, достойная уважения? Пилат, римский правитель. Он не может принудить себя к тому, чтобы принять *всерьез* спор иудеев. Одним евреем больше или меньше – что за важность?.. Благородная насмешка римлянина, перед которым происходит бесстыдное злоупотребление словом «истина», обогатила Новый Завет новым выражением, *которое имеет цену,* которое само по себе есть его критика, его *отрицание:* «что есть истина!..»

47

– Не то отличает *нас* от других, что мы не находим Бога ни в истории, ни в природе, ни за природой, но то, что мы почитаемое за Бога чувствуем не как «божественное», но как жалкое, абсурдное, вредное – не как заблуждение только, но как *преступление перед жизнью…* Мы отрицаем Бога как Бога… Если бы нам *доказали* этого Бога христиан, мы еще менее сумели бы поверить в него. – По формуле: deus, qualem Paulus creavit, dei negatio[11]. Религия, которая, подобно христианству, не соприкасается с действительностью ни в одном пункте, которая падает тотчас, стоит только действительности предъявить свои права хоть в одном пункте, – по справедливости должна быть смертельно враждебна «мудрости мира», другими словами, *науке,* – для нее будут хороши все средства, которыми можно отравить, оклеветать, *обесславить* дисциплину духа, ясность и строгость в вопросах совести, духовное благородство и свободу. «Вера», как императив, есть veto против науки, in praxi ложь во что бы то ни стало… Павел *понял,* что ложь, что «вера» была необходима: церковь позже поняла Павла. – Тот «Бог», которого изобрел Павел, Бог, который позорит «мудрость мира» (т. е., собственно, двух великих врагов всякого суеверия, филологию и медицину), – это поистине только смелое *решение* самого Павла назвать «Богом» свою собственную волю, thora, – это сугубо иудейское. Павел *хочет* позорить «мудрость мира»; его враги – это *хорошие* филологи и врачи александрийской выучки, – им объявляет он войну. Действительно, филолог и врач не может не быть в то же время и *антихристианином.* Филолог смотрит *позади* «священных книг», врач *позади* физиологической негодности типичного христианина. Врач говорит: «неизлечимый», филолог: «шарлатан»…

48

– Поняли ли, собственно, знаменитую историю, которая помещена в начале Библии, – историю об адском страхе Бога перед *наукой?..* Ее не поняли. Эта жреческая книга par excellence начинается, как и следовало ожидать, великим внутренним затруднением жреца: *он* имеет только *одну* великую опасность, *следовательно,* Бог имеет только *одну* великую опасность. —

Ветхий Бог, «дух» всецело, настоящий верховный жрец, истинное совершенство, прогуливается в своем саду: беда только, что он скучает. Против скуки даже и боги борются тщетно. Что же он делает? Он изобретает человека: человек занимателен… Но что это? и человек также скучает. Безгранично милосердие Божье к тому единственному бедствию, от которого не свободен ни один рай: Бог тотчас же создал еще и других животных. *Первый* промах Бога: человек не нашел животных занимательными, – он возгосподствовал над ними, он не пожелал быть «животным». – Вследствие этого Бог создал женщину. И действительно, со скукой было покончено, – но с другим еще нет! Женщина была *вторым* промахом Бога. – «Женщина по своему существу змея, Heva», – это знает всякий жрец; «от женщины происходит в мире всякое несчастье», – это также знает всякий жрец. *«Следовательно,* от нее идет и наука»… Только через женщину человек научился вкушать от древа познания. – Что же случилось? Ветхого Бога охватил адский страх. Сам человек сделался *величайшим* промахом Бога, он создал в нем себе соперника: наука делает *равным Богу,* – приходит конец жрецам и богам, когда человек начинает познавать науку! – *Мораль:* наука есть нечто запрещенное само по себе, она одна запрещена. Наука – это *первый* грех, зерно всех грехов, *первородный* грех. *Только это*

[11] Бог, каким его сотворил Павел, есть отрицание бога (*лат.*).

одно и есть мораль. – «Ты *не* должен познавать»; остальное все вытекает из этого. – Адский страх не препятствует Богу быть благоразумным. Как *защищаться* от науки? – это сделалось надолго его главной проблемой. Ответ: прочь человека из рая! Счастье, праздность наводят на мысли – все мысли суть скверные мысли… Человек не *должен* думать. – И «жрец в себе» изобретает нужду, смерть, беременность с ее опасностью для жизни, всякого рода бедствия, старость, тяготу жизни, а прежде всего *болезнь* — все верные средства в борьбе с наукой! Нужда не *позволяет* человеку думать… И все-таки! ужасно! Дело познания воздвигается, возвышаясь до небес, затемняя богов, – что делать? – Ветхий Бог изобретает *войну,* он разъединяет народы, он делает так, что люди взаимно истребляют друг друга (жрецам всегда была необходима война…). Война наряду с другим – великая помеха науке! – Невероятно! Познание, *эмансипация от жреца* даже возрастает, несмотря на войну. – И вот последнее решение приходит ветхому Богу: «человек познал науку, – *ничто не помогает, нужно его утопить!*»…

49

– Я понят. Начало Библии содержит *всю* психологию жреца. – Жрец знает только *одну* великую опасность – науку: здоровое понятие о причине и действии. Но наука в целом преуспевает только при счастливых обстоятельствах: нужно иметь *избыток* времени и духа, чтобы «познавать»… *Следовательно,* нужно человека сделать несчастным: это всегда было логикой жреца. – Можно уже угадать, *что,* сообразно этой логике, теперь явилось на свет: *«грех»*… Понятие о вине и наказании, весь «нравственный миропорядок» изобретен *против* науки, *против* освобождения человека от жреца… Человек *не* должен смотреть вне себя, он должен смотреть внутрь себя: он *не* должен смотреть на вещи умно и предусмотрительно, как изучающий; он вообще не должен смотреть: он должен *страдать*… И он должен так страдать, чтобы ему всегда был необходим жрец. – Прочь, врачи! *Нужен Спаситель.* – Чтобы разрушить в человеке *чувство причинности,* изобретаются понятия о вине и наказании, включая учение о «милости», об «искуплении», о «прощении» (насквозь *лживые* понятия без всякой психологической реальности): все это покушение на понятия причины и действия! – И покушение *не* при помощи кулака или ножа или откровенности в любви и ненависти! Но из самых трусливых, самых хитрых, самых низменных инстинктов! Покушение *жреца*! Покушение *паразита*! Вампиризм бледных подземных кровопийц!.. Если естественные следствия перестают быть естественными, но мыслятся как обусловленные призрачными понятиями суеверия («Бог», «дух», «душа»), как «моральные» следствия, как награда, наказание, намек, средство воспитания, – этим уничтожаются необходимые условия познания – *над человечеством совершается величайшее преступление.* – Грех – эта форма саморастления человека par excellence, – как уже было сказано, изобретен для того, чтобы сделать невозможной науку, культуру, всякое возвышение и облагорожение человека; жрец *господствует* благодаря изобретению греха. —

50

– Я не обойду здесь молчанием психологию «веры», «верующих», именно для пользы самих «верующих». Если теперь еще нет недостатка в таких, которые не знают, насколько *неприлично* быть «верующим», *или* что это служит признаком décadence, искалеченной воли к жизни, то завтра они уже будут знать это. Мой голос достигает и тугих на ухо. – Кажется, если только я не ослышался, у христиан существует критерий истины, который называется «доказательство от силы». «Вера делает блаженным: *следовательно,* она истинна». – Можно бы было возразить, что блаженство здесь не доказывается, а только *обещается,* блаженство обусловливается «верой»: *должен* сделаться блаженным, *потому что* веришь… Но чем доказывается, что действительно наступает то, что жрец обещает верующему как «потустороннее», недоступ-

ное для всякого контроля? – Таким образом, мнимое «доказательство от силы» в основе есть опять-таки только вера в то, что явится действие, обещанное верой. По формуле: «я верю, что вера делает блаженным, – *следовательно,* она истинна». – Но мы подошли к концу. *Это* «следовательно» было бы absurdum как критерий истины. – Однако если мы предположим, с некоторой снисходительностью, что доставление блаженства доказывается верой *(не* только как желаемое, *не* только как нечто обещаемое подозрительными устами жреца), – то все же было ли блаженство – выражаясь технически, *удовольствие* — когда-нибудь доказательством истины? Так мало, что оно почти дает доказательство противоположного; во всяком случае, если чувство удовольствия вмешивается в обсуждение вопроса «что́ есть истина?», то возникает огромное подозрение относительно истины. «Удовольствие» как доказательство есть только доказательство «удовольствия» – не более. Откуда имеем мы право утверждать, что именно *истинные* суждения доставляют более удовольствия, чем ложные, и что, в силу предустановленной гармонии, они необходимо влекут за собой приятные чувства? – Опыт всех строгих и глубоких умов учит нас *обратному.* Каждый шаг в сторону истины надо было отвоевывать, нужно было за него пожертвовать всем, чем питается наше сердце, наша любовь, наше доверие к жизни. Для этого нужно величие души. Служение истине есть самое суровое служение. – Что значит быть *честным* в духовных вещах? Быть строгим к своему сердцу, презирать «прекрасные чувства», из всякого Да и Нет делать вопросы совести!.. Вера делает блаженным: *следовательно,* она лжет…

51

Что вера при известных обстоятельствах делает блаженным, что блаженство из навязчивой идеи еще не делает *истинной* идеи, что вера не двигает горами, но скорее *нагромождает* горы, где их совсем нет, – это в достаточной мере можно выяснить, пройдясь по *сумасшедшему дому.* Конечно, *не* жрецу, ибо жрец из инстинкта отрицает, что болезнь есть болезнь, что сумасшедший дом есть сумасшедший дом. Христианство *нуждается* в болезни почти в такой же мере, как Греция нуждалась в избытке здоровья: *делать* больным – это, собственно, задняя мысль всей той системы, которую церковь предлагает в видах спасения. И не является ли сама церковь – в последнем идеале католическим сумасшедшим домом? – И сама земля вообще не сумасшедший ли дом? – Религиозный человек, каким его *хочет* церковь, – есть типичный décadent; время, когда религиозный кризис господствует над народом, всегда отмечается нервными эпидемиями; «внутренний мир» религиозного человека так похож на внутренний мир перевозбужденных и истощенных, что их можно смешать друг с другом. «Высшие состояния», которые христианство навязало человечеству как ценность всех ценностей, – это эпилептоидные формы. Церковь причисляла к лику святых только сумасшедших *или* великих обманщиков in majorem dei honorem… Я позволил себе однажды охарактеризовать весь христианский training раскаяния и спасения (который теперь лучше всего можно изучить в Англии) как методически воспитываемую folie circulaire[12], само собой разумеется, на почве к тому уже подготовленной, т. е. глубоко болезненной. Не всякий может сделаться христианином: в христианство не «обращаются», – для этого должно сделаться больным… Мы, другие, имеющие *мужество* к здоровью *и* также к презрению, как можем *мы* не презирать религию, которая учила пренебрегать телом! которая не хочет освободиться от предрассудка о душе! которая из недостаточного питания делает «заслугу»! которая борется со здоровым, как с врагом, дьяволом, искушением! которая убедила себя, что можно влачить «совершенную душу» в теле, подобном трупу, и при этом имела надобность создать себе новое понятие о «совершенстве», нечто бледное, болезненное, идиотски-мечтательное, так называемую святость; святость

[12] В вящую честь божию (*лат.*)… маниакально-депрессивный психоз (*фр.*).

– просто ряд симптомов обедневшего, энервирующего, неисцелимого испорченного тела!.. Христианское движение, как европейское движение, с самого начала есть общее движение всего негодного и вырождающегося, которое с христианством хочет приобрести власть. Христианское движение *не* выражает упадка расы, но оно есть агрегат, образовавшийся из тяготеющих друг к другу форм décadence. *Не* развращенность древности, *благородной* древности, сделала возможным христианство, как это думают. Ученый идиотизм, который и теперь еще утверждает нечто подобное, заслуживает самого резкого опровержения. В то время, как христианизировались во всей империи больные, испорченные слои чандалы, существовал как раз *противоположный* тип, благородство в самом его красивом и зрелом образе. Но численность получила господство; демократизм христианских инстинктов *победил.* Христианство не было национальным, не обусловливалось расой. Оно обращалось ко всем обездоленным жизнью, оно имело своих союзников повсюду. Христианство, опираясь на rancune больных, обратило инстинкт *против* здоровых, *против* здоровья. Все удачливое, гордое, смелое, красота прежде всего, болезненно поражает его слух и зрение. Еще раз вспоминаю я неоценимые слова Павла: «Бог избрал *немощное* мира, *немудрое* мира, *незнатное* мира, *уничиженное* мира»: *это* была та формула, in hoc signo которой победил décadence. – Бог на кресте – неужели еще до сих пор не понята ужасная подоплека этого символа? Все, что страдает, что на кресте, – *божественно*… Мы все на кресте, следовательно, *мы* божественны… Мы одни божественны… Христианство было победой, *более благородное* погибло в нем, до сих пор христианство было величайшим несчастьем человечества. —

52

Христианство стоит в противоречии также со всякой *духовной* удачливостью, оно нуждается только в больном разуме, как христианском разуме, оно берет сторону всякого идиотизма, оно изрекает проклятие против «духа», против superbia[13] здорового духа. Так как болезнь относится к сущности христианства, то и типически христианское состояние, «вера», – *должно* быть также формой болезни, все прямые честные, научные пути к познанию *должны* быть также отвергаемы церковью как пути *запрещенные.* Сомнение есть уже грех… Совершенное отсутствие психологической чистоплотности, обнаруживающееся во взгляде священника, есть проявление décadence. Можно наблюдать на истерических женщинах и рахитичных детях, сколь закономерным выражением décadence является инстинктивная лживость, удовольствие лгать, чтобы лгать, неспособность к прямым взглядам и поступкам. «Верой» называется *нежелание* знать истину. Ханжа, священник обоих полов, фальшив, *потому что* он болен: его инстинкт *требует* того, чтобы истина нигде и ни в чем не предъявляла своих прав. «Что делает больным, есть *благо,* что исходит из полноты, из избытка, из власти, то зло» – так чувствует верующий. *Непроизвольность* во *лжи* — по этому признаку я угадываю каждого теолога по призванию. – Другой признак теолога – это его *неспособность к филологии.* Под филологией здесь нужно подразумевать искусство хорошо читать, конечно, в очень широком смысле слова, искусство вычитывать факты, *не* искажая их толкованиями, *не* теряя осторожности, терпения, тонкости в стремлении к пониманию. Филология *как Ephexis*[14] в толковании: идет ли дело о книгах, о газетных новостях, о судьбах и состоянии погоды, – не говоря о «спасении души»… Теолог, все равно в Берлине или Риме, толкует ли он «Писание» или переживание, как, например, победу отечественного войска в высшем освещении псалмов Давида, всегда настолько *смел,* что филолог при этом готов лезть на стену. Да и что ему делать, когда ханжи и иные коровы из Швабии свою жалкую серую жизнь, свое затхлое существование с помощью «пер-

[13] Гордыня (*лат.*).

[14] Способность, готовность (*гр.*).

ста Божия» обращают в «чудо милости», «промысел», «спасение»! Самая скромная доза ума, чтобы не сказать *приличия,* должна была бы привести этих толкователей к тому, чтобы они убедились, сколько вполне ребяческого и недостойного в подобном злоупотреблении божественным перстом. Со столь же малой дозой истинного благочестия мы должны бы были признать вполне абсурдным такого Бога, который лечит нас от насморка или подает нам карету в тот момент, когда разражается сильный дождь, и, если бы он даже существовал, его следовало бы упразднить. Бог как слуга, как почтальон, как календарь, – в сущности, это только слово для обозначения всякого рода глупейших случайностей. «Божественное Провидение», в которое теперь еще верит приблизительно каждый третий человек в «образованной» Германии, было бы таким возражением против Бога, сильнее которого нельзя и придумать. И во всяком случае, оно есть возражение против немцев!..

53

– Что мученичество может служить доказательством истины чего-либо, – в этом так мало правды, что я готов отрицать, чтобы мученик вообще имел какое-нибудь отношение к истине. Уже в тоне, которым мученик навязывает миру то, что считает он истинным, выражается такая низкая степень интеллектуальной честности, такая *тупость* в вопросе об истине, что он никогда не нуждается в опровержении. Истина не есть что-нибудь такое, что мог бы иметь один, а не иметь другой: так могли думать об истине только мужики или апостолы из мужиков вроде Лютера. Можно быть уверенным, что сообразно со степенью совестливости в вопросах духа все более увеличивается *скромность,* осторожность относительно этих вещей. *Знать* немногое, а все остальное осторожно отстранять для того, чтобы познавать дальше… «Истина», как это слово понимает каждый пророк, каждый сектант, каждый свободный дух, каждый социалист, каждый церковник, – есть совершенное доказательство того, что здесь нет еще и начала той дисциплины духа и самопреодоления, которое необходимо для отыскания какой-нибудь маленькой, совсем крошечной еще истины. Смерти мучеников, мимоходом говоря, были большим несчастьем в истории: они *соблазняли*… Умозаключение всех идиотов, включая сюда женщин и простонародье, таково, что то дело, за которое кто-нибудь идет на смерть (или даже которое порождает эпидемию стремления к смерти, как это было с первым христианством), имеет за себя что-нибудь, – такое умозаключение было огромным тормозом исследованию, духу исследования и осмотрительности. Мученики *вредили* истине. Даже и в настоящее время достаточно только жестокости в преследовании, чтобы создать *почтенное* имя самому никчемному сектантству. – Как? разве изменяется вещь в своей ценности только оттого, что за нее кто-нибудь кладет свою жизнь? – Заблуждение, сделавшееся почтенным, есть заблуждение, обладающее лишним очарованием соблазна, – не думаете ли вы, господа теологи, что мы дадим вам повод сделаться мучениками из-за вашей лжи? – Опровергают вещь, откладывая ее почтительно в долгий ящик; так же опровергают и теологов. Всемирно-исторической глупостью всех преследователей и было именно то, что они придавали делу своих противников вид почтенности, одаряя ее блеском мученичества… До сих пор женщина стоит на коленях перед заблуждением, потому что ей сказали, что кто-то за него умер на кресте. *Разве же крест аргумент?* Но относительно всего этого только один сказал то слово, в котором нуждались в продолжение тысячелетий, – *Заратустра.*

Знаками крови писали они на пути, по которому они шли, и их безумие учило, что кровью свидетельствуется истина.

Но кровь – самый худший свидетель истины; кровь отравляет самое чистое учение до степени безумия и ненависти сердец.

А если кто и идет на огонь из-за своего учения – что же это доказывает! Поистине, совсем другое дело, когда из собственного горения исходит собственное учение.

54

Пусть не заблуждаются: великие умы – скептики. Заратустра – скептик. Крепость, *свобода,* вытекающие из духовной силы и ее избытка, *доказываются* скептицизмом. Люди убеждения совсем не входят в рассмотрение всего основного в ценностях и отсутствии таковых. Убеждение – это тюрьма. При нем не видишь достаточно далеко вокруг, не видишь *под* собой: а между тем, чтобы осмелиться говорить о ценностях и неценностях, нужно оставить *под* собой, *за* собой пятьсот убеждений… Дух, который хочет великого, который хочет также иметь и средства для этого великого, по необходимости будет скептик. Свобода от всякого рода убеждений – это сила, это *способность* смотреть свободно… Великая страсть, основание и сила бытия духа еще яснее, еще деспотичнее, чем сам дух, пользуется всецело его интеллектом: она заставляет его поступать, не сомневаясь; она дает ему мужество даже к недозволенным средствам; она *разрешает* ему при известных обстоятельствах и убеждения. Убеждение как *средство:* многого можно достигнуть только при посредстве убеждения. Великая страсть может пользоваться убеждениями, может их использовать, но она не подчиняется им – она считает себя суверенной. – Наоборот: потребность в вере, в каком-нибудь безусловном Да или Нет, в карлейлизме, если позволительно так выразиться, – есть потребность *слабости.* Человек веры, «верующий» всякого рода, – по необходимости человек зависимый, – такой, который не может полагать *себя*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.